Елена КРЮКОВА

РАСКОЛ*

Книга огня

ЗВЕЗДЫ В ГОРСТИ
ФРЕСКА ПЕРВАЯ

(Аввакум и детство)

Три Лика над временами висят. Смещаются времена многажды и стократ, переслаиваются, жарятся на черной сковороде, аки блины... а я все вижу, вижу самоцветные сны... А я все зрю да зрю, яко робенком, беспросветные сны — как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперек да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь — а шею ко звездам выгнул, инда бессловесный сребряный гусь! Рыба да птица... спицы в колеснице... колеса иных, занебесных телег... мне мое детство все снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясется октябрь и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая... жена, хоть к вечере воли изжарь... Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, — с пылу-жару схвачу, обожгусь... зубы волчьи в жизнешку вонжу... на краю лавки в темнице молчу... с изнанки, свиной кожи, испода... возожгу себя, аки свечу... Три Лика, всево лишь Три Лика, а и кто они, да знамо, кто: один — батька, другая — матка, поперед родильново крика я, брадатый, битый-распятый, молочный мороз хватаю голодным ртом... А кто ж третий-то Лик? не различу... старик... колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка... Он глядит на меня краткий миг, всево лишь миг... и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей — гомон, гул, гулянка... А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнем да мечом, надвое — луг, надвое — поле, надвое — сердце: гляди, што почем... Раскол! а и кто там снова жжет себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою,

Елена Крюкова родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России. Член Творческого Союза художников России. Поэт, прозаик, искусствовед. Автор книг стихов и прозы («Юродивая», «Врата смерти», «Рай», «Беллона», «Тибетское Евангелие», «Солдат и Царь», «Побег», «Земля», «Хоспис», «Иерусалим», «Оборотень» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), премии Za-Za Verlag («Танго в Париже», 2012, Германия), Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия), Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014, «Солдат и Царь», 2016, «Вера», 2019), международных литературных премий им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), им. А. И. Куприна («Семья», 2016), им. Э. Хемингуэя («Беллона», 2017, Канада), Южно-Уральской премии («Старые фотографии», 2017), им. С. Т. Аксакова («Хоспис», 2019), ДИАС («Евразия», 2019), им. Ф. И. Тютчева («Созвездие Лебедя», 2020), им. Н. Н. Благова («Вера», 2021) и др. Публикуется в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, Украина, Беларусь, США, Канада). Создатель арт-проекта «Театр Елены Крюковой».

* Журнальный вариант.

поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огнь, небесная — на полміра — держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте...

Я качусь в санях. Это детство мое катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой черной бани. Это детство мое везет меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечевку. Это детство, детство мое я все ловлю, ловлю сухими губами, а через миг — солеными: плачу морями полынных слезынек, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночевка... Лишь дорога, дорога, — она одна чрез всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, — ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, все расколото, от Ада до Бога, — увези мя, Боже, на себя непохожево, во огненной дрожи, снова в детство... увезите меня туда, люди, люди, о люди...

Ох ты, детство мое... на морозе белье... неба синий котел... уха облаков... плыл осетр, да и был таков... плыла стерлядка, да была такова... на морозе гаснет трехрядка, скоморошья иней-трава... на морозе гибнут безумные Божьи слова... а я жив... и вера моя жива... власть моя умрет... а вера моя живет... синий огнь под полозом, звездный лед... сколь страданий ищо, родная моя попадья, претерпеть... ищо жизни треть... ищо вечности треть... бичеваний плеть... погост и поветь... кандальная клеть... окладная медь... люди, я просто в санках козявка, малек... снег алмазно слепит... путь ночной далек... путь ночной широк... лет ночной высок... надо мной, робенком, во всю глотку хохочет мой Бог...

Закину башку в бараньей ушанке: Три Лика... в зените Три Лика... острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка... Непостижимы... неприступны... присносущны... трисиянны... То Детство мое, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны... Вчера явлены, нынче сновиденны... в Новолетие вечны, сей же час бренны... То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будьто парчовой гордыни парсуны... то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны... рокочут, ливня лунные струны... А я все в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чудесно по снегу свищут, и я в них сижу, ввечеру — Царь, а поутру — Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, заутра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, беспородный щенок, вою жизнь напролет, из гончих, звонкого лая царских пород, лишь ребячье, заячье повторяю имя — лаской мамки... за звездной печкой... за треском дров, тепло насыщает кров, ищо ништо не свершилось... ищо никто не казнен, не убит... ищо нигде не болит... вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит... немного ищо, во сне, в ночи, в тишине... сделай милость...

(я сама)

Я сама к тебе пришла. Слышишь ты, сама. Нет, я не схожу с ума. До юродства благословенново, благодатново мне ищо далеко. А я тебе, отче, просто горбушка ситново, просто ледяное, с погреба, молоко. И то, мя погребли — а я восстала да и пошла к тебе, отче, по выгибу родной земли, по ея буеракам, болотам, холмам, оврагам, огням... потеряла счет летам, ночам, дням... Ну вот я тут. Это апостолы ранее приходили в веру Христову, сперва разбойничали, а потом просветлялись. А мне — Время одолеть: экая малость. А так я с Богом завсегда — и там, откуда пришла, и здесь, рядом с тобою; на закраине стола оплывает свеча... отче Аввакуме, это я. Не погаси. Нас и так Господь в свой черед потушит на краю бытия. Я на прелесть не соблазнялась, на соблазн не косила глаз. Я все это за спиною бросила, изникла нищая жалость, и не надобна мне никакая мірская сладость здесь и сейчас.

Ты ведаешь ли, я по монастырям бродила!.. скиталась, моталась по весям и городам... Мне церковь давала великую силу. Мя от грязи омывал водопадом лучей Божий храм. Навстречь всем ветрам! А што будет там? Далеко?.. тамо, куда иду... на костер, на звезду...

Я тебя, отче, видала издалека. Ты прожигаешь собою все века. Оттуда, из Времени, из никогда, нигде и везде, зрела всякий седой волос в твоей святой бороде. Зрела обветренные смуглые щеки, болью изрезанные стократ. Синий, пронзительный, всенебесный взгляд. Сжатый камнем кулак... родинку на скуле... Эта жизнь твоя — рекой — растеклась по земле... А я хочу в той реке плыть. А я хочу вблизи тебя пребыть. Одним с тобою воздухом дышать. С тобою вместе спасаться! С тобою вместе... помирать...

Ну так што же! Хочешь, штобы я все-превсе рассказала тебе? Изволь. Правда дрожит у мя на соленой губе. Вот вырастет пред тобой из-под земли Никитка, звать нынче Никон. Станет он Патриарх. Да ты сам себе патриарх, в зерцало взгляни-ка, а за плечами — кострища жар. Чье кострище? Твое? Не бойся. Таково бытие. Ты ж сам учил малых сих: без мучений нету ни святости, ни святых.

Вот, зришь? Фигура зело мощна, нос заносчив, одежды богато расшиты перловым зерном. То твой Царь, отче. То нас всех земной Царь, и толкует все об одном: подчинись, смирись, исполняй приказ. А не то кулаком промеж глаз. А ты такой, отче, неприказной. Ты ж сам на ково хочешь пойдешь войной!

Иду на вы... выше корабельных сосен... тише воды... ниже травы...

Ну, протопопицу тебе што казать?.. она, жена, и есть жена. Она на всю жизнь Богом дадена, едина-одна. Рождена в вере Христовой да взращена-воспитана в ней, всегда шла мимо болотных, диаволовых огней. Потому, што ты был рядом с ней, ты. Гласом тя ласкала: Вакушка!.. — середь житейской маеты... Вместе вы зрели на небеси знамение: как прелагалася светлая, тресветлая Луна в людскую кровь. Вместе творили неусыпную любовь. Детки рождались... а звезды все катились, катились кругами округ синей мертвой Луны... Зри, я дошла к тебе избитыми в кровь, живыми ногами... прими мя опричь детишек, опричь жены... Я, может, твое дитя наилучшее, наисвятое. Хотя кругом, отче, грешна. Просто... хочу жить и помереть с тобою... не доченька, не сестрица, не жена...

Гляди дале! Болярыня стоит поодаль. Тихохонько стоит, застыла; молчит. То знатная болярыня, не опускает громадные очи, и глазыньки ея иконописные плачут навзрыд. Звать ея болярыня Морозова, а по имечку Феодосья, стоит в расстегнутой собольей шубейке, а боса да простоволоса, а батюшка ея был знатный Прокопей, а она сама владелица златых-сребряных копей, да все сокровища свои на веру в Господа Исуса променяет храбро, на любовь к тебе, отченька, без тебя — рыбой об лед, топыря жабры...

Што же ты за камень-магнит?.. в какой землице Богом отрыт... ах, в моей родной, в нижегородском окоеме... на крыше избы своея мальчонкой сиживал на соломе... И наблюдал, как Луна катит по смоляному небу. И грыз, грыз горбушку ржаного, цвета земли, теплого, сейчас из мамкиной печи, хлеба...

Таково вижу тя, отче, робенком... слышу, как плачешь тихо... как хохочешь звонко...

Глас человека — музыка века. Я пришла к тебе, я пришла! Из морока, криков, крови и снега. Из выстрелов из-за угла. Велишь продолжать, ково зрю?.. продолжу, изволь. Немного людей в виденье осталось. Сыплются в жизнь твою, отче, каленая соль.

А што есть Луна, ответствуй?.. может статься, заблудшая звезда. И светит в нигде... и летит в никуда... Глядись в Луну, инда в зерцало. Видишь, там, у тебя за хребтом, все люди-люди?.. толпятся, толкутся... ох, они тя и страшно избичуют потом...

Противостой Царю. Противостой Патриарху. Жизнь тебе — бичом и подарком. Жизнь тебе — скатеркой камчатной: убрусом к лику в кровище прижмешь — вот тебе и образ печатный... Забьют тебя, замучат за то, што веру Русскую будешь хранить. Не бойся! Мужайся! Это вьется Времени овечия нить. Это жужжит веретено в крепких руках Настасьи, женки твоея. И тебе, отче, вся земля — семья, и все звезды — семья.

Спой нынче со мною любимый Давыдов псалом на краю бытия.

Пускай нас нынче не услышит никто из людей.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей!

Молись и за Никона, и за Царя. Все люди в реке-жизни плывут не зря. От твоея долбленки отстанут их богатые, в бухарских коврах, ладьи. А ты и умирая живи, все живи. А ты и сгорая на будущем костре, бороду к небеси задирая в серебре, усыпанный рубинами-топазами, искрами огня, кричишь-поешь про жизнь, значит, про меня! Ведь я не человечица, отче, нет! я твоя жизнь! Ты за меня крепче, больней на костре держись! Смерть — яко затмение Солнца! зачерненье Луны! Жизни, веруй, никакие смерти не страшны! Вот видишь, я тут, и пою с тобою и о тебе; это значит — я снова слеза на твоей губе; это значит — я проповеди твоея ночной тихий хрип, я под твоею стопой в темнице — половицы скрип, раскинь крестообразно в огне руки твои, ты сгораешь во любви и во имя любви, ты станешь пеплом звезд, перегноем небес, а потом на востоке над Міромъ взойдешь, озарив дол и лес!

А сейчас — просто, отче, тебе Аллилуия моя! Хрипло, радостно пою тебе я! Трижды славим Господа! Трикраты в Пасху лобзанье! Трисвятое пенье, знаменный распев, широкое, на полміра, дыханье...

Все ли понял ты, отче? Все ли так я тебе рассказала? Отца, Сына, Духа Святаго помянула с конца и с начала? Тот ли спела заветный псалом? То ли Демество по гласам распела? Ты-то понял, што мы с тобою живем там, в ночных небесах, без края-предела?.. Там, округ белоликой Луны, над холкой Медведицы звездной, где ветра сшибаются, где Илья в колеснице и Езекииль могучий и грозный, а рядышком с ними и ты, отченька Аввакуме, в лучистом хитоне, на звездном убрусе... Прости-спаси-сохрани тебя, Вседержителю Господи Исусе...

(я свидетельствую о Расколе)

Я все-таки добежала сюда. Я свидетель. Што такое свидетель? Свидетель — свидетельствует. Свидетельствую, ибо истинно. А ты, ты разве знаешь, што оно такое, истинно? Што есть истина? Так Понтий Пилат Исуса вопросил. И што Господь ему, наместнику императора римсково, земному владыке, ответил? Ты сказал. Да, так и сказал: ты сказал. И боле ничево. Ничесоже.

Свидетельствую, што все оно во времена твои, отче, происходит в матушке нашей Расее ужасно. Раскольно. Мне больно! Што есть Раскол? Земля трескается надвое, натрое, начетверицу, надесятеро, на сам-сто — и расходится. Разымается! Раскалывается. Вот уже раскололась. Реву в голос. А я-то, я — на каком берегу? На правом... на левом?.. где верней спастись... а, все одно погибнешь! молись...

Разве расскажешь тебе, отче Аввакуме, о том, што я видала-слыхала чрез три века после тя?.. поведать бы, не шутя... я ж не скоморох... но и не Господь Бог... Нет ничево, што бы по силе ужаса перекрыло то, чему люди сами свидетелями станут. Наудачу да спьяну. Хмельным лехше: они веселеньки очи закроют с улыбкой — а Міръ под ними качнется зыбко, а Міръ под ними с места тихо стронется, и поплывут корабли, и поскачет конница, и полетят железные, крестовидные лютые птицы в небеси... и будут на землю, вниз, бросать смерть... ай, Господи, спаси...

Батюшко!.. навидалась я, наслыхалась. Настрадалась. Как тот, ну, пророк, про нево ты мне говаривал да и болярыне своей, усердно тебе внимающей, нежно нашептывал:

Нострадамус. Во хранцузских землях жил-поживал, заботливо врачевал, людей из лап чумы вынимал. А ночьми — в толстенной книжище, телячьею кожей обтянутой, все писал и писал. Скрипело гусье перо... расплывались чернила... Увидати, што будет — не то, што было. Он, Нострадам, и стальных адских птиц в небесах тайным внутренним оком видал. И тяжелые коробы, сработанные из железа, а на них пушки, и стреляют; и все живое в округе враз помирает — от края до края... А ведь землю нашу можно убить лехко, просто! И ни слова не скажут чужедальние звезды. И ни лучика приветного нам, мертвецам, не бросят равнодушные звезды. Убить — просто. Умереть — тоже просто. Жизнь недорога; а смерть ищо боле дешева. Подкладывай в топку людские поленья! Жарко горят дрова!

Мы, отченька, в минувшем веке пережили две грозных войны. А малых войн и не счесть; лишь о них у бедных матерей сны. Уходят на войну — и не вернутся сыны. Глаза от слез навеки солоны. В начале века родился новый великий Раскол. Міръ весь безумный трещинами пошел. Люди как озверели. Убивали друг друга таково жестоко! Армии шли друг на друга. Заслоняли ужас вышитым ликом Бога. Воздымали хоругви, штандарты и иные знамена. Кровь хлюпала под ногами. Лилась с небосклона. Кровь, она ведь все помнит. И во мне она шумит настойчиво и устало. Мне она поет: дитя, начинай все сначала. Вымани из норы войну. Стань охотницей! Может, еята ты и застрелишь. Горькими семянами на зубах молодых смелешь. Я помню и вторую страшную битву, в средине минувшаго века. Мильоны убитых, забытых закрывал полог снега. Снег молчал. Снег валил. Морозы такие настали — хоть стой, хоть падай. Немец на нас тогда войною пошел; и пластами, слоями жизнь обращалась в падаль. И люди людей вешали. Кололи штыками. Жгли огнеметом. Взрывали торпедой. Свидетельствую, ибо истинно! И мы били, били врага, били и гнали, до конца, до венца, до самой победы.

А ты, ты-то ведь таково рыдал, когда увидал скотину мертвую на дворе у соседа... рыдал, Бога Господа пред образом поминал, шел впервые по Господнему следу, ибо лишь Господь может тебе показать, как в радость обращается гибель, в имярек — любимое имя; а ты горько плакал, все о душе, ей одной исполать, безсмертной, между смертными всеми другими...

Свидетельствую, ибо истинно! Разрубили нашу древлюю веру мечом! Скажешь, отче, Царь ни при чем, и Никон, твой шабер, ни при чем?! Я-то вижу, да и ты уж зришь, как воистину в Господа верующие идут, собираются в срубы, штобы чрез минуту древняный гроб факелом возжечь, вознести к ночному небу огненный меч... как молитву последнюю шепчут горящие губы... Скажешь, зачем люди себя убивали?! И ты не остановил! Ты знал: так будет в конце, и так было в начале. Это выбор свободный, нам дает Господь ево смело: иди хоть во смерть, хоть в безсмертье, ибо оба — без края-предела!

Кровь... кровь... Ты ей не прекословь. Она снимет с тебя и оковы, и сами следы оков. Человек родится в крови, убитый — уходит, весь в крови лежащ; кровавый на нево наброшен, вместо святой плащаницы, грязный военный плащ. А война и в міру может завтра, да што там, севодня разразиться; война такая птица, куда долетит, там людям и разбиться. Кровь твоево народа, Аввакуме, што, на тебе разве? Воззри на Царя своево в одночасье. Вот же оно, всевластье! Лютое горе то, а не счастье. Благодари Господа, што не родился Царем! Што простолюдинами живем... народом простым, святым и помрем... А кровь, шум крови в ушах, ты же ведь тоже СВИДЕТЕЛЬ, отче Аввакуме, живой свидетель всех судеб, коих не ведала я, всех земель, где я не бывала, всех яств, што я не едала... на колу мочало, начинай сказ сначала... Я-то зрела, как тя мать женила; а ты зрел времена иные — во Время орлиным оком прозревал — в Аримафее со святым Иосифом святое вино выпивал — вдоль по Парфии за Божьим хитоном, по ве-

тру летящим, увился... за руку Марию Магдальскую вел... слыхал, как громко, трубно вопил Вербного воскресенья осел... а дорога пылила... а Господь ехал на смирном осляти к Своей могиле... и к Воскресенью... и к Вознесенью... сидел ты в мрачном, полночном саду Гефсиманском в сиреневой страшной, влажной и звездной сени... последний цветов аромат... последний запах смолы кедровой... о, кедры ливанские, царственны, черны и суровы... это ты, ты, отче, слыхал со Креста последнее Господа слово... ВЪ РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ ДУХЪ МОЙ — не правда ли, так Он сказал?.. повтори, повтори это мне снова...

Кровь. Она твой царь, хан, князь и шах. Она тихо и мощно, упорно шумит в ушах. Она омывает тебя, и в памяти вспыхивают твоей то шепоты: люби!.. — то вопли: бей!.. Кровь течет из раны вовне — это сквозь красную линзу Время гляди на просвет. Кровь течет тебя внутри, в тишине — это значит: а смерти нет. Ея и в самом деле нет, разве ж я тут бы стояла, батюшко, рядом с тобой, в тебя из времени плеснулась, яко прибой?.. весь в крови мой там, за спиною, последний бой. А нынче сердце мне свое открой! Сколько раз в ночи, то ль во сне, а то ли нет, я шептала-бормотала твой — Господу — неслышный обет; твой потайный ирмос; твой последний кондак; на память вызубрила... зажала в кулак... Скольких я хоронила! Безсчетно. Не вспоминать. От Тигра, Евфрата и Нила стелилась кровавая гать. Не слезы текли, а кровушка из ослепших очей... пел над убитым соловушка во мраке ночей... Кровь. Она въедается в землю. Ея впитывает земля. Кровь. Я ея не подъемлю. Ползет, красная змея. Вширь, вглубь и вдаль, ищо дальше, далеко, закатной алой рекой. Кровь. Она так одинока. Ея коснуться рукой. На деле, на самом деле — в ней толпы, вече и гам, сраженья, сабли, постели, где роды и фимиам, в ней лица просвечивают, близко, далече, горят красные свечи, пылают голые алые плечи, небо красные ядра мечет, летит в зените красный кречет, да не птица то, хищный то человече, кровавую пищу клюет, глазом красным косит в народ, говорят, так в небе летит любовь, а кровь? Ей не надо слов. Ей ничево не надо. Ни пули. Ни взгляда. Она течь рада и литься рада; она Богу на Кресте Распятому — награда; она вся вылилась в чашу Грааля; ея жадно выпила сухая земля, там, где мы не бывали; там, где мы не стояли; где мы не молились; так, отче, давай хоть нынче помолимся, сделай милость...

О, ты встаешь... ты тоже слышишь шум крови... уста твои для молитвы наизготове... Молитва — это и сон, и объятье, и блаженство, и прощенье, и бой... бой последний... давай начинай, мы оба сейчас за кровавой, кровной обедней...

Ты, отче, ходил по камням Рима, по скалам Эллады. И живой остался!.. твоя жизнь мне наградой, усладой. Твоя жизнь мне отрадой. По Руси мы оба ступаем. Инда по Эдему, по яблочному, вишневому Раю. Мандарины в густо-зеленой листве... во смарагдах — топазы... Если уж умирать, отче, так с тобою и сразу; штоб не мучили долго; штоб не расходились страданья по красной воде кругами; и стану я тогда — красная елка, зело изукрашенная красными звездами, алыми снегами... Я слышу кровь. Она, отченька, тихо звенит. Она колокольна. Оттого, когда ея проливают, так тяжко и больно. Так остро и больно. Так вольно — и больно! Сколько раз я стучала лопатой в мерзлую землю, штобы любовь мою схоронить достойно... А земля кровила. А земля — под лезвием — мне в лицо брызгала кровью! И я клала любовь во могилу, и зарывала, и сажала цветы в изголовье, красные цветы, и они кровоточили жадно, и со креста чугунново ту кровь не смою ни сияющим бешеным летом, ни тусклой слюдяною зимою... Кровь, соленая, горькая... на губах. Это раненых я целовала. Кровь на веслах, уключинах, на руках, я в лодке по разлившейся крови гребу ко причалу, к бедной пристаньке, в красных огнях, а волна мя пьяно шатает, и што будет со мною в иных временах, один Господь знает... Выпить красного, да, в помин. Зашвырнуть в разливы крови бутылку. Сквозь красную толщу виден рыбий сверкающий клин, видно рыда-

нье мое на родной могилке. Видны все старые избы весей. Все древние стены забытых градов. Кровь, это просто музыки взвесь, а большево и не надо. Кровь, воли игра, Времени четки, картография горя, Время нами играет, в крови умирает, внутри наших вздутых жил, с нами не споря, кровь, таинственная река, разливается снова, красный лед ветра солено ломают, кровь, ты умер, а в роду твоем твоя кровь живая, о, так тяжко, длинно шумит, и встают во крови виденья, одно, другое, третье, о чем она говорит, зачем длит прощенье и наважденье, кровь, солено, хинно, полынно, горько, горячо, текуче, встают народы, войска и семьи, династии, военные тучи, она, свободная, широко и нагло льется меж всеми, кровь с кровью сплетается, люди друг друга опять зачинают, тому кровь чужая, убей, а тому, о, прости, родная, кровь, вязкий плов чужеземной победы, кровоподтек на месте оков, кандалов, забытые снежные Веды, кровь берут в полон, кровью клянутся, кровью на песке пишут заклинанья, кто в запретную кровь влюблен, нынче скотом пойдет на закланье, кровь на морозе дымится, летит красным и белым паром, все, что омыто кровью, все пришло неслучайно, недаром, кровь, батюшко Аввакуме, я тебе бормочу, не слушай, для иной, небесной музыки отверзи слух свой, открой крылатую душу, кровь, это музыка, отче, это целый громадный оркестр, это варган, это жалейка и дудка и лира, я слышу кровь окрест, я вижу алый флаг ея — на пол-Міра, в крови сшибаются, плачут, летят тела, выпирают локти, кулаки гранатами вон вылетают, кровь, а может, любовь, несвятая, да брось, святая, все красное свято, алой заплатой кровь на мне, на тебе, на тех, кто был и кто будет, морды коней, танков гусеницы, человек в крови, это страшно, больно и гордо, кровь, рода клеймо, дымы крематориев, пылающих изб, госпиталей, полных красных криков до неба... кровь, ты ей не прекословь, отче, она же тебе насущнее хлеба... кровь даждь нам днесь... Міръ, гляди, в крови весь... это Раскол, разрубили нас, разрубили... на душистое сено — и вопли измены... на святую молитву — и хищную, в задыханье, ловитву... на положенье во гроб — на дикий, последний вопль на могиле — и на Второе Господне Пришествие, в торжестве, во славе и в силе...

А любовь куда же от крови забрать... кровь, она любви и отец и мать... голая румяная баба выбегает на снег... свет струится у ней из-под век... в баньке, шипя, на каменку из ковша плещет вода... красная жизнь... теперь и всегда... я так люблю ея, вот беда... отченька, ну обними мя, я ж не изо льда...

(Аввакум и кровь)

Людие, людие. На ково вы делитеся? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистощим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Міръ, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля — авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племен, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и все живое, живущее. Кровушка — признак живово. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесешь моея смерти.

Священство мое позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче — об ихней смерти. Смертушка. Я во мнозих храмах служил и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таежной сибирской сторонушке — везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им свое — говорил.

Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самою душою — думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважней-

шее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Темно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю. Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!

Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.

Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черед, все за нас природа сделает, все устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашептывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрешь!.. да, таково и припечатывали.

А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечет, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошеяя, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнем горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленях предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон-целитель. А под дровешками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвие-то и наставляю! И уж хотел было нажати рукою покрепче и в яремную ямку острие вонзити — а взор мой как упадет на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица своево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во всея жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ищо на земле, — а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, урода, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божием храме не отпоет! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!

И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготавливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице мое было тогда сплошь улито, все мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая... Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ищо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Все то ищо будет! Так зачем поперед веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?

Да, да, да. Все канет без следа. Процарапанный глубко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда... а на порог взошел болярин большой, черный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересек, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детями на сенокосе была: как раз тою косой, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах

нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье черное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло все стало, словно бы изнутри воссияло все вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она — на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поет. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.

И ссилился тут я, и приподнялси тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што — не срок мне нынче. Ищо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Дале! Ступай с миромъ! Отыди с миромъ!

И она отошла.

А на другой день явилися в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету ни страданья, ни маеты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице — Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлеб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня... кровь... лилась... во снег и грязь... и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь...

Наша беда — мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы — поздно — везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем все в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!

Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы... на краю бытия...

Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она — теперь у тебя, человече, одна. Когда, о, когда же, когда пробьет этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнем вспучатся все материки... а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки...

Когда, о когда в самом деле, по-настоящему мы умрем, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарем, разобьемся ли, кони вдруг понесут, али нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем... ни годов, ни часов, ни минут... Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, все это в грядущем, все это рыданья соль на губе, день и час смерти — мгновенье твое последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб... Ты мнишь себя безсмертным, ты, ветка краснотала, безконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твое мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она... а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна... Смерти никогда нету в настоящем; она явилась — а тя уже нет! О радость! огнь молящий, палящий... на тыщу живых вопросов — один погибший ответ... Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду — Крестом... Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; а душа не хотела уходить; моли-

ла, ответно пела: ищо час, ищо пять минут... Ты воззри на себя из будущего, человече! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак... Так человек осознает себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь... Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе... таков убийства черный огонь... Ты убил котенка, чижа, жука... утку на первой охоте... ты убил человека, чужово, родново... слыхал ево дикий стон... ты не Бог, а жизнь отнял... смерть, непостижная! ты над нами в полете. Ты наше завтра, но тя даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть все знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Все останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Все так же будут сбиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то все равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льется, как вьется рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюженны поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же безсмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь и вновь забирает нас — у нас, у крови веселово гона, у родильново стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея — заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а все умирает, умирает даже старая бирюза... Умирает старая кровь, если новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже... древние грозные льды... Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она — живая! И, живую, ея попросить... ей взмолиться... штобы мимо — ея следы... Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твое вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым... за тебя принимаем чужие страшные лица... лица, лица, лица людские... улыбки, морщины и кровь... красново снега тяжелый ком... Кровь сияньем течет, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит... может, в небо красной хоругвью взмывает... надо всеми, над Міромъ моим... кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе... не кручиньтесь... ведь смерти нет... глядите, лишь кровь и дым...

Только дым и кровь, только древнее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до безсмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово черное тесто, из которово можно вылепить новаго Міра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся безсовестно грешная, жаркая, бешеная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся — потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.

(взорванный дом: письмо с войны)

детство детство ты мой дом я голодна по тебе всегда всегда из развалин я слышу стон эй люди скорей сюда детство мы жили в погребе твоем мы заикались когда стрельба вот бы крепко обняться с мамой вдвоем а война стороною пройдет слепа кто нас спасет у нас есть Царь князь воевода опричный полк спрячусь от смерти в мышиный ларь там хранятся подзоры и шелк там хранятся крупы и мед хохот и слезы хлеб и вода смерть летит недолет перелет сегодня живы навек навсегда

детство ты просто дом на века в тебе живет смерть и кровь горит детская кровь это народ кровь за кровь ничком и навзрыд кровь отдать за кого за что прямо в дом целит снаряд в мамино старое плачу пальто небо горит слезы горят не виноват говорят никто что Рай обратился в Ад

(я: глаголю о Настоящем, откуда пришла)

Батюшко. Да ты послушай, слушай мя. Выслушай. Да кивай, коли не веришь; просто так кивай, для успокоенья моево. Я-то на твоем языке говорю, а ты на моем не смогаеши. Ну и што? А то. Язык, он один. Народ — един. Што вчера, што далеко, завтра. Туман обвяжет то дрожащее птичкой завтра, слоями, покровами, погостами наляжет, не рассмотришь. А кровь течет, коли ранят иль убьют, на землю вытекает, все такая ж красная, дымная, — живая.

Я притекла к тебе из своево Настоящево. Мое Настоящее — спросишь, каково оно? А рассказать — не смешно. Да в любом Времени, отче, смеху-то и нет; за все держи ответ. Снег так же там густо, щекотно валит с небес. Так же волчьи молчит лес. Там так же стреляют, убивают, казнят. И так же — из гроба — не воротятся назад. А я тут пошто, спросишь, почему? Сама не ведаю; поторчу близ тя, отченька, да и уйду во тьму. Подхвачу, вон, в уголку переметну суму. Давай нашепчу; што, и сама в толк не возьму.

Мое Настоящее. Костром горящее. Свечой дрожащее. Рыбка ледащая: уклейка, сорожка, на ушицу мясца крошка. Нету жира, навара. Настоящее, а будьто древнее, старое.

Ужасно мое Настоящее, отче. Тягостны дни; бесконечны ночи. То воюют народы, то ждут войны. Про войну снятся безумные сны. И мне снились. Я Бога просила: возьми от мя те сны, Боже, сделай милость. Очистил Он от черноты душу мою. Все светло вокруг стало! И я увидала — стою у пропасти на краю.

Што, вопрошаешь, как попросту мы живем? Да все так же, как и нынче. Хлеб жуем да водицу пьем. Водица течет изо ржавых труб. Горечь достигает дрожащих губ. За труд все так же платят монету. Кто трудиться не может — бредет с котомой вдоль по белу свету. Все люди, отченька, могут друг с дружкою балакать на большом расстояньи; лепечут в маленький ящичек разные словеса, а собеседник слышит твое дыханье, ловит смешки твои либо всхлипы твои. Чует злобу, даже ежели врешь ему о большой любви. Чует любовь, даже ежели сурово цедишь скупые слова: чувство, оно же как кровь, оно течет, благо ты ищо жив, ищо жива.

А то ищо все людишки друг с другом вяжутся в одну-единую незримую Сеть. Тово нельзя ни услыхать, ни подглядеть! Чрез особые коробы железные в ту Сеть можно себя вплести. И навеки ты — узел ея; и весь Міръ у тебя в горсти. Да все, в тенетах ты навек. Ты журчишь водою. Ты с небес валишь, снег. Ты ловишь собою рыбу чужую, да не ты ловец. А кто? Господь Бог? И не Он, ни Сын, ни Отец. И ни Дух Святой. А Тот, Безымянный, што незримо и молча стоит за тобой.

Вместо слюды да бычьих пузырей у нас в окна вставлено стекло. Хрупко оно, бьется легко, ударь скорей!.. — и вдребезги. Время ушло. Не вставишь заново, не глянешь ево на просвет. Было оно, Время, и вот не было — и нет. Руку посунь — вместо Времени — пустота. Та земля, да уже не та. Тот град, да уже не тот.

А мимо тя Тот, Молчаливый, Безымянный, идет.

А то ищо нас, отченька, обуял глад и мор. К зениту взмыл отчаянный хор! Люди вопят! Люди блажат! Не хотят помирать! Неизлечим жуткий мор; несчетна ево дикая рать. Надвигается, нас косит громадной черной косой. Пред ним все двери закрой — а он влетит в окно! Неслышно хрипит: помрете все все равно... Мы сражаемся, отче! Мы умирать не хотим! Подымается к небу с земли улетающий дым. Это тела сжигают.

Это воскуряют ладан святой. Живу одну жизнь, а она уж другая... иконы мурóм плачут во храмовой тьме густой...

На улицах мертвые лежат. На скорбных одрах возлежат тела. Эта хворь неизбывна. Нам теперь с нею жить, вот и все дела. Я тово не хотела тебе, батюшко, говорить. Да видно, так надо; ведь и у тя, отченька, попросят: пить! Ведь и ты, отче, у ближнево однажды попросишь: пить... Ты ж не смерть, ты косою не косишь, ты живую, травную, кровную вяжешь нить...

А я там, в моем Настоящем, иду по смрадным улицам, трупов всюду тьмущая тьма, и как это я, отче, до сих пор не сошла с ума, я не знаю, как эта зараза зовется, может, антонов огонь, может, иная чума, да только Міръ в Адов бочонок черным млеком щедро льется, и глотаем мы ужас и скорбь задарма... И у мя в руках, отче, знаешь, пузырек малый, прозрачный такой, как сосулька весенняя... еле держу ево ослабелой рукой... и из того пузырька стеклянново, будто иерей — міром иль на соборованье елеем, помазую на земле лежащих — и мертвецов, и живых... к ним росомахой подбирается тьма... ищо дышащих... снадобья не жалея... то масло розы, и цветы я сбирала сама... И они разлепляют глаза свои, раскрывают уста на последний, пьянящий земной аромат — жизнь, огромная роза, пылающа и свята, память лишь о тебе, Райский Сад!

Да, отче... земля — Райский Сад... мы ея опоганили сами... сами под виселицу себя подвели... сами себя бросили в пламя, растоптали коркою хлеба в пыли... Сами... все сами... а может, Настоящево нету... может, я живу, отче, здесь и сейчас, и к тебе прижимаюсь голой планетой... яко Луна к Земле... навек ли, на час...

Што, спросишь, как же мы выкарабкалися из той оглушительной хвори?! Как смогли ея победить?! А никак... лишь умирать на просторе... лишь хрипеть напоследок это вечное: пить!.. — то ль врачу-исцелися-сам, то ли прохожему, в лохмотьях, язвах и кашле, то ли любви единственной, што твои руки крепко сжимает в своих... штоб тебе идти по дороге смерти было не больно, не страшно... штобы ты мыслил: средь мертвых тако же хорошо и семейно, как средь живых...

Тихо, тихо... Не утешай, не надо... Рассказ мой окончен простой... понял ли ты што иль нет, не ведаю... мне и молчанье — награда... мне и рука в руке — невыносимый свет... Я просто птаха малая, зачем-то из Настоящево в мое Прошлое прилетела... в твое, отченька, Настоящее... Времени нет, ну поверь мне, поверь, поверь... Я всево лишь дух, никакое не тело, я всево лишь в твое Грядущее открытая дверь...

А, ты про Грядущее?.. изволь, давай туда вместе заглянем. А ты знаешь ли, отче, што два-то у нас Грядущего, два! Как два глаза. Две руки. Две ноги. У двух образов Будущее помянем: у Распятья и Богородицы, што Заступницею Пречистой над Міромъ жива.

Возьми мя крепко за руку, отче. Только не отпускай руку. Слышишь! ты!.. только руку!.. руку, руку не отпускай! Мы увидим сначала одну, на пол-Міра, последнюю муку. А потом оба узрим Грядущий, возвращенный наш Рай.

Первое Будущее — ох, не приходило бы оно лучше. Лучше б сдохло оно, метко простреленное, насквозь. Да охотники мы неважнецкие. Положились на случай, на извечное наше, ленивое наше авось.

Видишь выжженную равнину?.. снега иль пески то белые... ветер их перевивает, в кольца свивает, в петли, круги... До погибшего Міра, отченька, никому во Вселенной нет дела. Все погибли. Все умерли. Все убиты — друзья и враги. Это ужас последней войны, невероятной, а ведь настала. Расстилается тьма, безлюдье, белизна, пустота. Расстилается — без человека — Міръ. А Бога там нет?.. только Смерти жало?.. значит, ея победа... выходит, ея торжество... без Господа... без Креста...

Отвернись... не гляди... очи выглядишь, вытекут с горя. Повернись в инакую сторону. Мимо смерти смотри. Видишь, видишь?.. на невиданном, на громадном про-

сторе Землю, звезды, Солнце, Луну зришь снаружи и изнутри. Это, отченька, наше Грядущее... я ж говорю, иное... эка Космос великий играет нам всеми гранями!.. инда алмаз... весь цветной, рубин, малахит, лазурит, шалью вспыхивает ледяною... видишь Ангела?.. он летит над нами... здесь и сейчас... Улыбается Ангел, тихо поет!.. на дудочке нежной играет... утомленный дорогою дальней, крылатой, по небесам... он чудесный вестник безслезного, звездного Рая, он нам — музыка, міром святым льющаяся по щекам, раменам, по устам... Видишь счастье, Грядущее?.. не сомневайся, оно так и будет... а первое Будущее — это все понарошку... это все лишь игра... будет свет, радуга, музыка, мандарины и яблоки на серебряном блюде... верьте, люди, о люди... и так будет с тех пор севодня, завтра, вчера... Будет радость, о ней ты, отче, всю жизнь и молился! За отцами, святителями, преподобными, равноапостольными все: «Радуйся!..» — повторял... Ты лети туда... только в радости не забудь дорогие могилы... только в радости исповедуй веру родную, начало начал...

Ну, а я, отченька... разреши, я пойду. А куда, и не спрашивай. Содрогнешься, узнаешь коль. Ужаснешься... захочешь со мной... Напоследок дай испить вина. Дай кусочек свежево брашна. Загляни мне в лице, седой, озари улыбкою молодой. Поцелуй: устами прикоснись осторожно к бледному, ледяному, потному, светлому лбу моему. Все, што было меж нами, это свиданье, немыслимо, невозможно. А теперь я уйду во свет. А тебе помстится — во тьму.

Свет и тьма. Тьма и свет. Равновелико похожи. Равносильно насущные. Равномощно обнимут нас. Обними и ты мя, отченька, до кости, до рыданья, до дрожи. Пока живы мы. Пока ясный огонь не угас.

(протопоп и боярыня Морозова)

Сколь народищу на улке! Толпятся, дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побег. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюет снегом мокрым, тяжелым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лед голый, и снег в пуржицу обратилси. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я чрез головы всех воззрился!

...Да и понял живехонько, што к чему.

Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.

Куды? На суд? Опосля суда — приговор исполняти?

Каково я здеся-то оказалси? Я ж пребываю в дальних землях северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе... Ничево не понимал, однако все на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею — мимо мя, грешново, неслися.

Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай все до капельки, ибо ты сподобился; потом разбересси — и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном теплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчушке безымянном — рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь — с голоду помрет, а воскреснет она.

Везут! Везут, Господи... Укрепи ея, поддержи ея... Любимицу мою, ученицу смиренну... Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищалым — кров давала; безверных — верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих — надеждою на грядущее изум-

ляла. Все она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!

Мимо, мимо розвальни... На снегу сидит, скрючившися, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугунных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услыхал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дщерь Твоя за Тебя нынче — на смерть идет!

И глядел я ясно вперед себя, и нашел глазами в санях — лице ея.

...И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами — к перстам... Гудит жерло толпы. А в горле — хрипнет: «Исуса — не предам». Как зимний щит, над нею снег вознесся — и дышит, и валит. Телега впереди — страшны колеса. В санях — лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней — болярыня, двуперстье воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, — сгниют в земле, умрут... Так, звери, што ж тропою ледяною везете вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, — гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!

Снег бьет из пушек! стелется дорогой с небес — отвес — на руку, исхудавшую убого — с перстнями?!. без?!. — так льется синью, мглой, молочной сластью в солому на санях... Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, — и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!. И ты одна, болярыня Федосья Морозова — в Міру в палачьих розвальнях — пребудешь вечно гостья у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Его читала всей кровью — до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдя обряды, молитвы и посты, просфоре черствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своево любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу — в полруки!.. — вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слез — ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою — Христос.

И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом — в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубенках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будьто раны, от вольново огня, от вставшево из трещины кострища — ввысь! до Чагирь-Звезды!.. — из сердца бабы — эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.

Горит, ревет, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огнь — он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьет! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег — в яму и тюрьму, на розвальни... на рыбу в мешковине... на попика в парче... Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица — на плече... Как поцелуй... как нежный, неутешный степной волчицы вой... Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лед ручья, Распятье над бугром...

...И — катят розвальни. И — лица, лица, лица засыпаны сребром.

...И я стоял и думал: а ведь все это ты, проклятый Патриарх, все ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь

и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят... Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинище старый, годами трепанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовию. А я стою, в раздумье тяжкое погруженный. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь — вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститися! А што взамен тово?!

Везут... везут мою дитятку духовную... везут мою цариченьку в клобуке, черную мою ворону-галку, монашеньку... в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она... она не покачнется... руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея... и — вижу — двуперстие из пальцев исхудалых складывает... и ищо выше, выше тянет... вот же оно, вот — Исусово крестное знамение! Исусов знаменный роспев! Черная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья — бревна стоеросовые, тя везут — ах, знаешь ли, куда?! на што?..

...И тут болярыня моя на мя — свои широкие, будьто лопатою выкопанные на метельном лице темныя очи — перевела.

...Узнала. Она — мя — узнала!

Споведала!

Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови собольи на лоб поползли. Щеки осунулись. Все лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины — глядела, и со светом Божиим — прощаласи.

А длань с воздетым двуперстием — не опустила.

Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.

Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и все синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращенные; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилось, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своея хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!

— Аввакуме!.. отченька...

Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирый, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущего человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда вы, и супруга твоя, нежно и крепко обымаетесь на общем ложе, во звездной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженново. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осужденную. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающую с небес тяжелым царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал — всем.

Всем сущим.

...Не сознавал, што же такое со мною.

...Чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздернули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.

...И блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слезными зрачками вдаль провождающая, все это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашего Исуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, огромадные Три Креста, и на одном, в самой средине, в средоточии Міра видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево — два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слез глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!

Да што там: сам Господь на Кресте — их, татей, простил!

И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избенками Три Креста, и высочайший — Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облаченную в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:

— Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!..

И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будьто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моем хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновенье стал зрети. Весь Міръ, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам — в тот весь Міръ разом обратилси.

И я, сиречь весь Міръ, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силенок:

— Нынче же будеши со Мною в Раю!..

И это раздалось, раскатилося по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:

— Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у...

И не устыдился я, не засмущался, што я на глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.

Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.

А вот таковое — назначено.

Имеющий уши — да слышит. Имеющий душу — да простит.

Прости, спаси и сохрани мя, Господи.

...Так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтязагогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащево санново полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней — бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шепот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастного виденья, от метельного ко-

лыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всего и вся по именам называнья, и я старался, идя, все забыть, все простить, што было и чево не было; я шел и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, теплые, старые, юные видел, шел вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шел один, а как будьто все разом, шел один, али тьмой тем, уж не ведал, а на меня косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я безсвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.

(девочка и матерь ея: письмо с войны)

Мама, мама, я просто малое дитя твое Я хочу чтобы на руки хочу чтобы крепко к теплой груди Я все знаю мама про былье и про небытие А про новую жизнь ты мне сама расскажи под снега-дожди Вон они за окном стеною и сном все встают и встают Мама мама ты знаешь когда вырасту я хочу Стать для путника проводницей там где берег крут Там где боль и боль умирают плечом к плечу Там где Міръ и Міръ сшиты крепко черной войной Этой черной заплаты с атласа белого не содрать Мне все кажется это не с тобой не со мной Эта жизнь ли смерть молитва ложь благодать Все наврали нам ты от удара вчера не умрешь И меня не застрелят завтра ни наводкою ни из-за угла Мама мама Міръ на малую меня так похож А война она же закончится и все дела А ты там на том свете вяжи все так же вяжи То берет то кофту то шарфик то штопай белье То на кухне точилкой точи тупые ножи А я знаешь завтра воскресну во имя твое

(дощеник тонет)

Енисейский острог покидали. Оглядывали срубы, крестились. Когда ищо доведется увидеть эти дома, эти небеса?

Небеса одни. Надо всей землей.

И Бог — один.

А люди разрывают Ево на куски, кромсают, ломают, режут ножами.

И это не Причастие святое, нет. Это — безлюбье. Бездушье.

Бог — твоя душа. Потерял ты, брат, родич, соплеменник, живу душу свою!

Лошади тянули возки, телеги, кошевы. Он оглянулся на град, што покидал. Ветер трепал браду.

Протянулся день, другой, третий. Реки, холмы, шкура тайги, далекие крики зверья. Когда вышли на берег Тунгуски, лоб крестили опять. Река! Жизнь велика. И слово надо сказать, штобы соединяло, штоб звенело и болело и всем ево слыхать, не только себе под нос бормотать. А што есть такое слово? Слово было у Бога. И слово было Бог.

Ересь Никонова, изыди!

А ересь, што такое ересь? Гадость то, мразь, мерзость, да! А каково-то душе еретика, вдумайся! Вчувствуйся. Еретик, он опять же мученик. Да заблудшая овца он. Да вражина первейшая — не тебе: Богу опять.

Дощеник, припав боком к берегу, деревянный теленок — к корове-матери-земле, ждал. Погрузились. Протопопица перетащила по доскам детишек: одного на дощеник

перенесет — за другим на берег бежит. В юбках запуталась, чуть в воду не свалилась, дитенка на руках пьяно держит, качнулась, еле удержалась: устояла.

Вот так и надо устоять.

Стоять во што бы то ни стало!

Наш Господь выбрал это, вот это: на Своем стоять. И быть распяту. И мертву быть.

А зло, оно што? Оно неистребимо. Невытравимо из людского скопища! Вон гнус сибирский летает, клубится. Человека привязать ко древу — за ночь гнус съест ево до костей.

Погрузились. И ветер тут налетел! Ветер, мощь, стихия, человеку страшна, борет все, разрушает все, коли захочет — все в мире с землею сравняет.

Ударил ветер в бок дощеника. Перевернул ево, и черпнул он воды. Господи ты мой Боже великий! Помоги, спаси, не отринь! Потонем ведь все в одночасье! Водица хлещет, ветр ярится, парус рвется, текуча вода, Міръ исчезнет, сгаснет под водой, погружаются медленно люди в яростную воду, во время, погружается мир в темноту, Бог, да Ты Свет, Ты един, на Тя уповаем, да не постыдимся вовек! Вот палубы, доски кренятся, ветр сумасшествует, — да мало ли в жизни человечьей безумья, и вот зри, тебе безумье юродки-природы довелося к сердцу прижать. И простить! Простишь ли, человек, природе да Богу страшную смерть свою!

...Жизнь, жизнюшка. Тебя нельзя начать заново. Тебе имя-то каково? Ты протопоп, звать тя Аввакум, женка твоя зовет тя в минуту радости земной — Вакушка. Земное имя! Дать ево нельзя вдругорядь, и нельзя жизнь начать наново. Сибирская бурливая река, вода нахлынула, дощеник тонет, вот-вот на дно пойдет, к рыбам да червям. Полна древняная утлая чаша ледяной воды! И по лету в тутошних реках вода холодна; холоднее смерти.

А вот женка твоя со детишками, вместе с людьми и дощеником, тонет. Тонет! И нынче утонет! Ты-то плавать смогаешь, а она не умеет. А все, что потонуло, да разве же выплывет?!

Жизненка, летишь, малая, сирая ластовица... тощая, слабогрудая птиченька... то над реками... то над морями... над тайгами... в пустынях ветр пески, смеясь, перевивает...

Спаси! спаси! лишь крики над рекой. Лишь рваные паруса серых облаков в небеси. А и кто там во облацех, над тобою и сторожами твоими, протопоп? А это Господь Бог твой! И на гибель твою, и на гибель протопопицы твоей и чад твоих — торжественно, молча взирает! Ибо смерть — таинство велие есть; и неизреченна она; и пьянеют люди при единой мысли о ней без вина; и все поколенья, до тебя бывшие, по лику богатой и жестокой земли прошедшие, уже в холодной воде, — а ты ищо идешь, ищо идешь. И вот — плывешь. И вот — тонешь!

Уходит под воду днище твое! Корма твоя! Сосновый, гордый нос корабельный твой! Дощеник-то твой хрупкий оказался, жалкий! Протопопица на кривой палубе стоит, робят к себе сгрудила, глаза по плошке, глядит на тебя, инда душеньку свою всю перелить в тя желает. Да! Так любит она тебя! Вот сей час! Перед смертушкой!

Власы бабы растрепались. Страшен вид ея! А што, ежели и земля однажды, в свой черед, в черноте ночных небес — возьмет да утонет? Ко дну пойдет, да не к червям — ко звездам!

Орет ребятня. И все люди блажат.

Пошто, когда человек умирает, кричит?

И лик свой к небесам задирает. Вопит надсадно!

Умирать — не хочет!

Господи, спаси! Помоги! Сохрани!

Да тонули, все равно тонули, бесповоротно: видать, пробоина во днище случилась...

Обернулся. За их дощеником плыл, качался на ледяных волнах второй корабль. Там, на ево палубе, Царевы люди и несчастные ссыльные, наказанные ни за што, просто за жизнюшку: за то, што на свете живут, — плакали и визжали. И бросился в воду един Царев слуга; не разобрать, стар иль млад; и саженками поплыл к Аввакумову дощенику, и уже взбирается по борту на палубу, как соболь когтями во кедра кору, вцепляясь во щели меж досок. Корабль уходит под воду, а человек со другой лодьи зачем приплыл, по шаткой палубе, полоумный, шарахается?! А! Из воды — за волосы — вытаскивает робятенка! Так это ж, зри, протопоп, сынок твой младший! И отроковицу из воды хватает, и на бочку с соленою рыбой кладет, бочка, чудо, ищо торчит из воды! А мать глядит. Глядит неотрывно!

Вся жизнь в ея очах; вся смерть. И синие от холода губы шевелятся. А ни крика, ни стона. Ни звука.

Вот уж все твои детишки на той бочке сидят. А Царев слуга, по колено в воде, бредет по скошенной палубе к тебе.

— Спас я семейство твое, протопоп!

— А пошто спас?!

— А жаль мне тя стало! Все же детишки! Божьи созданья! Безгрешны они! Это мы грешны со всех сторон, протопоп!

— Как имя твое?! Ежели живы останемся, в молитвах буду поминать!

— Егор!

— Кому служишь, Егор?! Царю?!

— Ему, батюшке! Кому ж ищо!

Так перекрикивались.

— Што стоишь како жердь, протопоп?! Богу молись! Авось Он зла не попустит!

Почему ты запел, среди смерти всеобщей, тот кондак, из Постной Триоди, да зачем сбился на свою, из души, песнь, ты и не ведал.

Необъяснима жизнь; и непостижна смерть.

...Покаяться — многотрудно поплакаться — солнцелико отверзи ми двери прилюдно отверзи Врата Великие заутреня гаснут звезды мигают во светлом храме свечей тяжелые гроздья икона в дубовой раме икона в тяжком окладе то медном то кованой стали колючкой страданья ради оплетена — не устали мы мучиться навзничь падая в распутице — ниц распяты свечьми зажигая пальцы где плачет Ангел крылатый смеется где Божья Матерь с рожденным во хлеве Сыночком заутреня — вне проклятий от гибели вновь отсрочка заутреня тлеют звезды ломаются с медом соты избави мя Господи грозный от всякия нечистоты

...Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое...

...О, лютые грехи творил я, Господи. И въявь творил, и злобным, нечестивым помышлением исхищрялся. Грязен аз есмь пред Тобой, и во прахе лежу! И прах лобзаю, ибо прах, землица моя — то Ты, жизнь дарующий! Прости, Жизнедавче! Убоюсь, да трепещу неустанно, невозбранно страшнаго Дня Суднаго: тот Последний Суд земной и небесный, та всеобщая великая смерть, незримая, неслышимая, неописуемая языками людскими, нелюдимая, неотвратимая, — и внутри, во чреве предвкушаемой той всеобщея смерти, видя воочию, как огнь ея объемлет все сущее на земле и за ея пределами, уповаю на Тя, надеюсь на Тя, призываю Тя, не токмо к себе, многогрешному, а ко всему несчислимому войску людей Твоих — и крестьян во полях, и ратников, на

войну на конях едущих в мощных доспехах, и баб, детишек во утробе носящих, и деток тех безсчетных, то весело играющих, то от глада и мора Вселенскаго в зыбках вопящих, и зыбки те станут им скоро гробы, — ко всем, ко всем Тя, Жизнедавче, зову, кличу нутром всем и сердцем неистовым всем Тебя одново, Господи Боже мой, призываю на ны милость благоутробия Твоего, — такоже и Давыд кричал-вопил в утонувших в море-окияне времен забытых веках; забыли мы, каково одевались тогда, што вкушали за трапезой, как миловались в застланных чисто постелях, а бывало, и под Солнцем ясным, в странствии, при дороге: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! Помилуй ны!

Нет, я не фарисей, нет. Хоть и грешен везде, всюду, со всех сторон. Нет! никово я не поучал, никово лживо не спасал, ни на ково не клеветал, никово комьями грязи не забрасывал, слюною ядовитейшей не оплевывал.

Спасе Всемилостивейший!.. каюсь, каюсь и ищо покаюсь. Каяться надо постоянно, всегда, вечно. Не бойся каяться. Стыдно иной раз. Оторопь берет: сколь же всево нечестивово натворил, настряпал! А к стопам Божиим припасть — все равно второй раз на свет родиться. Исповедь — вот сияние. Яко Северное. Цветные шелка там по небесам ходят-бродят. Да и в Сибири-матушке таково видал. Красоту Господь каковую содеял! Для нас, грешных? Да! для нас! но и для Себя тож.

Молиться надо! И каяться! Везде, всюду: и во грязи, во прахе, и в Сиянии неизреченном! Человек то вознесен, то во Ад низвергнут. В Аду — не до красоты ему! А внутри поет, мечется жажда велия — опять красоты, опять любви сердечко хочет, востребует. И воздыхаю. И возношу молитву, пред тем, как ко сну отправиться, все ея шепчу-повторяю, а очи слипаются уж, и сил нет сонную, тяжелую главу поднять, и протопопица ворочается на ложе, и детки хнычут, таково жалобно и тонко, како бельчата, бурундучки на ветвях сосновых, — а я стою на коленах пред святою иконой и все бормочу, как пою, выпеваю душу свою, выпиваю сужденную чашу сию: спаси, Блаже, души наша.

...И волны, видишь, вняли, послушались молитвы твоея. И ветер внял: утих. И холодная синева, чистота страшная, смертная широково неба твоево выше, выше, в бездну Міра поднялась. В дощеник волны били, били, яко в бубен шаманский, и прибили ево ко брегу: к песку да камням, и то снова была твоя земля, родимая землица, а уж могла во смертном сне привидеться-примститься. Воля Божья! На бездорожье! Не обидь ны, Господи, не обидь! Дай есть, дай пить! А я Тя люблю и так — зри, зажал Твой Крест честный во кулак...

(сон мальчонки Аввакума)

а я хотел бы стать поводырем такой красивой тетеньки с теплой рукою и чтобы волосы у ней на затылке тяжелым пучком и чтобы глядела восторгом тоскою а я бы крепко ее за руку взял и повел повел повел вперед по дороге и времени катился девятый вал а она глядела нежно и строго навсегда не остаться ребенком жаль умереть навсегда приговор жестокий и блестит ледяной дороги сталь и шагаем мы вдаль от срока до срока я пока мальчонка я тихо расту а вокруг война ее дикие звуки а мы все идем держим крик во рту не разнимем на морозе теплые руки и она глядит на меня сквозь кровь и тоску и она говорит немыми устами а как звать тебя мальчик и я говорю Аввакум и она говорит священником станешь и смеюсь я звонко глаза закрыв сам себе упованье слеза и предтеча сквозь воронки пули за взрывом взрыв потому что впереди небесная встреча в белом поле навстречу мне выйду я бородатый старый юродивый нищий и застынет красивая на краю бытия и меня старика обнимет кострищем и стоять я буду в сужденном огне и глядеть я буду как я сгораю так все будет все сбудется в дивном сне на краю любви на исходе Рая

(звезды в горсти)

О, нельзя, нет, нельзя жизнь заново начать. На новой жизни поставить чистейшей новой Радости печать. Они бегут и бегут, твои ноты, крюки, твое богатейшее, цветное демество: пой великий распев, пой Міръ твой, вертеп, Господень хлев, скоро последнее торжество: всхлип, вскрик, а боле и ничево. Не обернуть вспять событий, необратимы они: твои ночи и дни, хоть подкову перегни, хоть ближнево насквозь обмани, — грань между смертью и жизнью — да, отодвинута вдаль всегда: ты живешь, а однажды умрешь, да то вечно в будущем; разбитая льдом пруда, твоево хрупково зимнево сердца слюда...

До последней минуты! До последнего биенья внутри — твоя смертушка завтра: смотри ей в глаза, не смотри! Ты твою смерть в твою жизнь никак не вписал: не отразил ни в одном из тысящи тусклых старых зерцал... Ты слишком жадно, единокровно живешь! полноводно поешь! До страсти точишь охотничий нож! Ты вечно выходишь из ветхих, отживших кож! Ты бабочкою смарагдовой вылетаешь из мертвой куколки вон! Ты смерть наизусть читаешь, выпрастываешь из паутинных пелен...

Но ты свою смерть не узнаешь в лицо, когда явится вдруг! Но ты перед ней зарыдаешь: обнять не хватит рук! Ты жил — тек огненной лавой, расплавленный, яркий, жаркий, безумный, дурной, морем потоков кровавых, зрячим Міромъ, слепой войной! А смерть — твое настоящее тело! Она — гляди-ка! — ты сам! Она стать тобой не хотела, взять на себя стыд твой и срам... Когда все кончается — красная лава застывает январским льдом... Без славы помрешь иль со славой — да разве все дело в том! Ты назначен быть смертным, слышишь. Приговор ты выучил наизусть: УЙДЕШЬ ЗВЕЗДЪ ЯСНЫХЪ ПРЕВЫШЕ. Уйду, ты киваешь, пусть. А потом вдруг вскинешься, ярый, многострунный, пожарищней жизней всех, и завопишь на весь Міръ подлунный, на весь ево плач и смех: Я НЕ МОГУ, МОЙ БОЖЕ! Я НЕ ХОЧУ УЙТИ!

...Белое поле. Мороз по коже. Звезды в недвижной горсти.

...И только нежный голос тонко струит занебесный плач: ты родился голым, слеп, нелеп и горяч, и уходишь ты голым, велик, жалок и наг, разрушенный Божий Город, ослепший Вселенский зрак, одичалый кузнечный молот, сожженный кричащий сруб, — насквозь прозрачным, как в голод, с молитвенной дрожью губ, с последним хриплым дыханьем, выталкивающим последний стих, с немым ночным замираньем кимвалов, цимбал твоих; и издали, тихо, оттуда, где жил до рожденья ты, тебя обнимет остуда — сиянием красоты, мерцанием перелесков, алмазным блеском полей, повиснешь на тонкой леске всей рыбьей жизнью твоей, забьешься, и перельешься в огромный звездный котел, и смертью своей упьешься, пред Господом бос и гол, — скелет без кожи и плоти, без белой кости душа, в сиянии и в полете последним ветром дыша.

(Аввакум суть зерцало Никона)

Пошто ты Церковь-то разрубил? Ах, бормочешь, нельзя иначе было. Нет, Никитка, крестьянский сын, земелюшку б тебе орати да орати!.. а ты во Церковь подалси. То тебе Царь пообещал, мол, твори што желаешь, а он ни словечка тебе не молвит поперек?!

Царь народу приказал. Народ послушался. А как же; народ пред Царем на площади ниц падет завсегда. И Царь не спрашивает народ, нет! Царь велит — и народ склоняет выи. Царь — древо, округ нево бояре — кусточки да отростки, и тако лес тот всевластный растет и нарастает.

Што в самом-то деле случилось, а, Никон? Пошто тако все свершилось?.. да и вершится дале. Пошто вдыхаем не благовония, а вонь да гарь пожарищную, кострищ-

ную? Раскрыти ли мне людям замутненные, бельмами неведенья затянутые очи их? Обнажити ли пред ними всю суть твоево, Никон, деяния? Али смолчати?

Велик народ; могуч народ. Да ведь, Никон, ты сам — народ. И я, Никон, я — тоже народ. Ты веруешь, и я верую. Мы оба веруем! Да только во што, в ково ты-то веруешь! Может статься, и не во Исуса Христа вовсе!

Ты застрельщик. Ты предводитель. Ты, поклянися, это все придумал! Муку эту мученическую!

Народ мучится. А Царь? А Царь доволен! А вот скажи, кто Царем, яко пешкою на индусской, во клеточку, игральной доске движет? Кто тобою, Никон, да, да, тобой, хитроумным да оборотистым, сзади тебя вставши, помыкает?! Ах, не знаешь?! Я знаю! я!

Книжную справу разве ты удумал? А разве ж не греки? А за греками кто стоит? Зачем мне, Аввакуму, во имени Божием удвоять начальну буквицу?! Буква — и ея двойник. А, у всех, у каждово есть двойники! Вот в чем разгадка! Нет, скажешь? Да ведь и у Бога Господа есть двойник! Диаволом он прозывается!

Трехперстное знамение тебе пошто было изобретати? Пошто крестный ход округ храма повел, негодник, не посолонь, а противусолонь?! Земные поклоны пошто запретил?! А крест на церковном куполе кой бес тя надоумил не осьмиконечным исделати, а четырехконечным?!

Нет... не кричу я... а пошто кричать... без толку кричать... зряшно глотку надрывать...

Што свершилося, то и бытует. Не делай никогда опасново шага; вкоренится в народ твоя ошибка, опрометчивость твоя, и начнет пускать гнилые ростки, черные листья. Да не ошибся ты; нет! ты все заране наметил, все просчитал, разложил на столе, како пельмени сибирские на посыпанной мукою доске.

А пошто ты все то замыслил, Никон? Пошто с народом и с землею Русской восхотел то сотворити? Какая муха благая тя больно куснула, ты и запрыгал, аки коняга играющий, встал на дыбки?!

Гордыня тя обуяла — вот што! Гордыня. Отрицаеши? Напрасно! Што глядишь исподлобья? Да, и я грешен! И я гордыней одержим! Да гордыня моя — вера моя. Горжусь Исусом! Горжуся Міромъ подлунным, Божиим! Горжуся людскою любовью, ибо любовь наша суть отраженье Апостольской любви, и слезы наши суть отраженье Богородицыных слезынек, и молитва наша суть зерцало Ангельского, в небесех, нашептанья. Ты, иерей, Апостола разве не захотел повторити?! Пошто же ты возгордился тако, што неудержно, нагло потопал, грудью вперед, очьми рьяно сверкая, противу родимой древности нашей?!

Во время оно, при князе Владимире Красное Солнышко, два устава бытовали: Ерусалимский да Студийский. Во Царьграде изначально возлюбили устав Студийский, он же и к нам на Русь прибрел-переселилси. Да незаметно, неприметно всю Византийскую землю залил-захлестнул волною Ерусалимский устав; а книги, книги-то при том на месте не топталися, они ж переписывались, Никон, они дышали, менялися, дрожали, ломались, плакали горюче, неизбывно! Оттово, што люди, люди их курочили, вспахивали, наново лепили гусьими, преступными перьями своими! Так ромеи святые словеса переписывали; а у нас все твердили Студийский устав, все по-старому молилися. Пошто ты приказал переписчикам трудиться не покладая рук? Справа! справа! А вышла не справа, а кровавая слава.

Хуже войны это, Никон. Хуже. Горше. Больнее.

То Распятие новое, токмо растянуто оно на чугунном кресте времени.

Кто снимет с новаго Креста прежнево, вечново нашево Бога?!

Где вы, о великие, величайшие? Где вы, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, Василий Великий, песнопевцы, творцы занебесных Литургий? Где вы, возлюбленные, златоси-

яющие Иоанн Лествичник, Роман Сладкопевец, Макарий Египетский, Григорий Богослов? Где ваши святые, солнечные рукописи, в них же ваши голоса навек сокрыты, спрятаны, и на волю вырываются при каждой радостной службе, при всяком ароматном каждении? Посылал ты, Никитка, в южные жаркие земли слуг твоих, приказывал им: привезите таковые мне книги с чужбины, штобы я мог родные страницы все искорежить, исчеркати новою справою!

Ах, Никон... Да ведь тебе твой холоп Суханов приволок книги даже не царьградские — оттиснутые в дальних градах: в Лютеции, в Аахене, пражские да веницейские! А пошто ты велел раздобывать себе древнейшие письмена, в коих речь идет о позабытых славянских богах, о ледяных землях, о Гиперборее и Мангазее? Языческие книжищи приказывал к себе в терем доставить, а на стогнах костры повелел разжигати и швырять во огонь книги родимые, благолепные, святые. Сам я видал, как на площади широкой возожгли кострище до неба, до мрачных туч, рваной мешковины дырявей, и гарь подымалась в небеса, и вопили и рыдали люди, обступя ночной костер, протягивая к огню дрожащие руки! Громадный костер, а к нему подвода подъезжает! Полная книг наших священных, великих! И сваливают угрюмые мужики книги те с подводы наземь, и обливают смолою, и поджигают. И вот уж два на площади костра. А вот и третий! Троица огненная! Троица пламенная! Книги, они, сгорая, корчатся и страдают, яко же и человеки!

А человеки тому нечестию сопротивляются, а их за то хватают, вяжут да в тот костер — вослед за книгами разнесчастными — бросают. Жгут, жгут людей! То ты, Никон, содеял! А молодой Царь — он што? А он захотел славы. Прославиться на весь Міръ возжелал! Ну разве ж непонятно! Ах, два вы жестоковыйных ката... На костры всех подряд отправляли, а сколь ищо отправите! Вам равно, крестьянин ли, боярин, черница, монахиня, торговка, сокольничий, юродивый Христа ради, по улицам да переулкам нагишом бродящий. Великая казнь святово! Слыханое ли дело! Не было таково от Сотворения Міра на всей земле. А вот у нас содеялося. Провижу время: и продолжится это книжное всесожжение, и будут жечь и жечь Священное Писание и опосля нас, грешных, и чрез множество неизреченных лет... там, во тумане неведомых веков...

И будут забывать люди Слово Божие, како оно на свет родилось. Слово было Бог, в Евангелии Иоанновом изречено!

Костры пылают... огонь, огонь, огнище... опять до зенита, до Полярной звезды...

А пепел остынет — мальцы, огольцы, выгребают из теплой золы медные застежки: вот все, што остается от Слова Божиево, нерушимово.

Куда же ты бежишь от меня, отвращаеши лице твое, али припекают тебя головешки кострища гордыни твоея? Берегись, тако и сгоришь от греха тово, како от похоти сатанинской... Стой! Слушай!

Казнишь, казнишь! Вот што гордыня творит! Смертушку вы с Царем назначаете книгам и людям, будто орешки щелкаете! А ведь жизнь Бог дает, Бог и забирает! Правильными себя посчитали. Во предводители Церкви и народа — сами себя записали! Церковь... Ведь она, братцы мои Алексий да Никитушка, русская. Русская! Византийский орел — пошто он нам? У нас и свой орел летит над вольными полями, над златыми хлебами, над изобильными зверем, рыбой да птицей тайгами. А вы... яко нерусские люди. Пошто в вере отцов и праотцев увидали ересь? И греки двоеперстием крестилися! А мы, русичи, во храм входили, будьто Солнца причащались! Господь суть свет! Потому и крестный ход ходим посолонь! Потому и во Троицу ко святым образам березовы ветки приносим! Солнечное древо береза, солнечным шумом над рекою шумит... над родимою Волгой... Не стремись запретить то, што растет и цветет над обрывом, над смертию самой! Возгордился ты шибко, Никита, да Царя за собой уво-

лок! Гордыню вашу едите, гордыню из братин пьете, гордыней умываетесь да утираетесь. Гоже разве то?!

Пускай я равно с вами грешен. Я тоже — гордый! Главы долу не клоню. Разве казните мя за верность? Да, верен! Да, лишь Христу Богу! А вы...

Што? И вы верны? А к чему же тьму тем смертей на Русской земле устрояете?!

Инда память из вас исчезла, испарилась?! Да помните ли вы незапамятное время? Ах, не жили тогда? А предание на што? А байки да былины наших дедов на што? А летописи-то на што?! Зря, выходит, летописцы трудилися, спину гнули над столешницею, гусьим перышком выводя на чистых страницах смоляные буквицы, и те жуками быстрыми разбегались, чечевицею черною под пальцами раскатывалися: то-то и то-то в сей год бысть, князья перессорились, град в июле крупный выпал, храмину новую, белоснежную во поле чистом, у озера синево возвели... Свободны мы были! И помнили свое родство! И Бога чтили ежеминутно, ежемгновенно, как то и должно в Міре быти!

И милостиво глядел я на сие, што в Рожество воссиял и Сочельник Велеса, а потом являлся веселый Коляда; и што во святово Георгия выгоняют скот и празднуют Даждьбога; и што Никола Вешний обнимается с Ярилой, зрак слепящим; и што на Ивана Купалу Рождество Иоанна Крестителя, а во день Перуна, владыки громов и молний, приходит Илия Пророк, великий громовержец; и помниши ли ты, Никон, што на Руси на Михаила Архангела возжигает земные и небесные огни Сварог, и летает над ним кругами птица Симургл? Помнишь, да лице отвращаешь?! Прямо мне в глаза гляди! Али не русские люди мы! Все свято, што воссияло на родимой земле под светилом небесным! Я — помню! Память моя — со мной! И милостив я, и почтителен я ко предкам моим! А вот ты? Ты?!

А трапезную, бунтарь, во што превращаеши? Кормление бедных и сирых, встреча паломников, странников, калик перехожих, пиры во великие Праздники для народа всево, заходи, кто похочет, садись и ешь со всеми, сообща вкушай Господни дары! Братчины гудели и шумели во трапезных! А ты... Теперь тамо пищу вкушати токмо бояре могут. Токмо приближенные к иерею знатные прихожане! А не мстится ли тебе, Никон, што то есть неравенство внутри Церкви? Сказано ведь Господом самим: несть ни еллина, ни иудея... Он-то пришел воистину не к праведникам, но ко грешникам!

А пошто ты, Никон, глазища-то твои басурманские прячеши? не молвишь, пошто кресты осьмиконечные возненавидел, обрубил до четырех немецких плашек?! Молчишь... Чем тебе, мордвину раскосому, наш родимый Христов Крест не угодил?!

Не маши на мя рукавами парчовыми! не сморкайся в них!.. говори по правде...

И колокола во древности нашей звенели-играли! И звонари наши за вервие языки медные трясли, во колокол ударяли, людей на радость либо горе всеобщее созывали! А скоморохи?! Да, прыгают высоко, голосят далеко! Кричат — глотки надрывают, во метели родятся, на площадях умирают! На торжищах знатных... у крылец теремов княжьих... а ведь, Никон, они, скоморохи-то, поистине бесстрашны! Всех просмеют, яко в мыльне березовыми вениками нахлещут! Што различишь в их воплях, прибаутках вещих? С куклами бегут, сани волокут, а на санях блаженная танцует, рукой пред собою незримо малюет: голым пальцем на морозе рисует в небесах Царицу Небесную — последней вьюгой, последней песней... И богомазы ведь наши скоморошьи игрища на фресках малюют, во храмах! Скажешь, нечестиво изображати глумцев?!. в личинах волков, медведей, козлищ брадатых, упрямых?.. Кричишь: диавола то служитель!.. а он противу тя встает, щеки размалеваны свекольным соком, а потом колесом пред тобою пройдется и взвопит: што, церковный князек, глянь, над тобой небосвод высокий! Небосвод далекий свят, свят, а все печешься о земном!.. плюнь да разотри,

ведь все одно уснеши вечным сном... И отдаешь ты приказ: тово скомороха в клочки разорвати!.. и што, Никитка, тем лишаеши ты себя прощенья и благодати... И их, вечных странников, во цветных колпаках, перекати-поле, ты готов всех, скопом, пожечь, посечь, обезглавить! И да, творишь сие, ловишь их, будьто зверей, и кровь не унять, одну, без тебя, не оставить! Кровью наслаждаешься, кровью насыщаешься... да ты разве упырь?! Ты ж иерей святой, Никон! Ты паствы смиренной поводырь! Ты вести должен, вести... а куда ты Русь ведеши, ну ответь мне, куда?!

...Народ наш велик. Ты уйдешь во свой черед, Никитушка, а над народом все будет, не избудет, гореть звезда.

Огнь вечен. Велик. Подыми твой лик. Погляди вверх, наверх. Тамо, тамо плач и смех. Там жизнь, а земля — лишь отраженье ея: тамо чистой Радости музыка — здесь, вся во слезах, ектенья.

(письма с войны: навстречу)

Мы, ведомые нашими детьми, идем по убитой военной земле друг к другу все время. Идем все надвременье. Идем все безвременье. Парим надо всеми. Как Ангелы; да вот, человеки мы; и не взять нам у неба жизни взаймы, и не взять у земли, мы сами себе корабли, плывем, встречи назначенной ждем. Пока надеемся, да не умрем. Мне возраста нет; дала монаший обет; холстину грубую ветер вьет; последний поход. За руку мальчик меня ведет. Да не мальчонка, а целый народ. Разве народ умрет? Никогда. Под босою ногой хрустит слюда тонкого льда.

А навстречу мне и мальчишке, там, далеко, идут двое: старик с непокрытой серебряной головою, за руку девочка держит его, идет и шепотом, торопливо молится, и я понимаю, Матушка — это малютка Богородица. Старик святой! Время, постой! Время, зачем ты идешь над нами... Время, зачем ты пламя... Мы все в свой черед сгорим; поднимется к небу тяжелый дым; поднимется к небу последний крик... запишут в новый нас патерик... Где ты, святой старик? Где, протопоп, арфа твоя, Царю ты Давыде, твоя ектенья, где твои слезы, тебе исполать, весело смеется малютка Божья Мать... Мы встретимся! Свидимся! То суждено. Навстречу друг другу идем давно. А как давно? Сколь долгих лет? От очей старика течет бешеный свет. Нежно светится мальчонки взгляд. Время, не рыдай, поверни назад.

А вокруг, а вокруг грохочет война. Дни в крови. Ночи без сна. Смерть без панихиды. Жизнь без любви. Время без веры. Боль без судьбы. Нас не убили. Хранит нас Бог. Я увижу тебя, отче, дай срок.

(спасти)

Постоянное мое желание — спасти ево, спасти. Унести, яко яблоко в горсти.

Унести: яко вынути котенка из клыков могучево злово пса; спасти, ему надо выжить, жить, а ему дышати осталось всево час, полчаса.

Спасти казнимово!.. было раньше то ли поверье такое, а то ли закон, то ли волком взвывал глашатай на площади, балакал колокольцем подвешенным языком: ежели ково казнят, к тому на помост девица взбежит, завопит: мой!.. то мой человек, беру ево в мужья, развяжите, ослобоните, ибо сей же час пойдем с ним домой!..

Так раньше было. А может, есть и сейчас. Слезами вижу юдоль, поскольку кровавая соль дотла выела хрустали моих глаз. Воздух, ветер ем и пью, ветром-бурею бормочу-говорю: отдайте, люди, возверните судьбу мою, развяжите, разбейте оковы, отпустите на волю зарю!

Спасти. Пусть самой погибнути. Но тебя я спасу. Обниму душой, положу на сердце, подержу на весу — всю жизнь твою, отче, Царь мой, мое убежище, крепость, робенок-мой-сирота, — зри, нам с тобою объятье в широкой полночи распахнул сам Господь со Креста.

КРОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ
ФРЕСКА ВТОРАЯ

(письма с войны: все это снится)

я не умру ведь ты же знаешь это я просто гляжу на убитого он рядом лежит головой в круге красного света и красное растекается и дрожит и красное лижет мои руки и ноги кирпичи и камни землю и облака гляжу на мертвых пытаюсь молиться Богу для крестного знамения не гнется рука с неба вой опять настигает все кричат: ползите в укрытие в ров а я не умру я ведь другая мне не надо ни яви ни снов люди люди вам все это снится а я не сплю я иду ко дну я улечу на небо в огненной колеснице я расколюсь на миръ и войну

(Аввакум царапает Царю письмо)

Ах ты, свет ты мой Царь. Все мнится мне, што не севодни-завтре помру. Потому хочу успеть высказать тебе, Царь-Государь, што нельзя не сказати смерду — Царю своему.

Вот сижу я во темнице. И што? То ты мя во темницу воссадил. И пребываю тут; и страдаю зело; а человеци на земле и созданы Господом единственно для тово, штобы бесконечно страдати. Я себя вопрошаю: и к чему таково Міроустройство? пошто та мука мученическая? Не лучче ли было бы, штобы людие вси друг к друженьке милостивы и ласковы были? Вот што я тебе, да, тебе исделал, Царь? Што такова я тебе сотворил, што ты гонишь мя? Живаго местечка, свежей кожи и неполоманных костей нету на мне от всечасных побоев. А все по твоему владычному приказу, видать, лупят мя. Сколь разов я смерть к себе тут призывал, в застенке. Молил Бога Господа: возьми, Господи, вынь из мя душонку мою, она Тебе в небесех верой и правдой послужит. А што Тебе в теле бренном моем? Выпитое оно уж все страданием, слабое, тщедушное, утлое. Дощеник ветхий тело мое, и вот-вот потопнет в холоднющей Времени Реке.

Вот ночь идет, идет и проходит, и не сочту я, сколь раз в безсветной ночи на живот свой паду, да по полу к иконе Божьей Матери Донской все ползу, ползу по ледяным половицам, да лице свое по доскам тащу, а доски-то неструганые, и щепки мне в скулы и щеки впиваются зверьими зубешками. Все половицы за ночь слезьми улью. Како баба, реву. Больна моя душа. Чем исцелю ея? Разве любовью? А где она, любовь? Где ты, где ты, любовь? тако и себя, и Бога вопрошаю, вот и тя, Царь, сей же час вопросил. Когда ты ищо то письмецо получишь. Когда тебе ево вослух прочитают слуги твои. Не ведаю, знаю одно, нескоро. Так проплачу полночи и прямехонько на дощатом полу сном тяжким забудусь. И сплю, и сновижу: будьто бы я пред тобой, Царь, в обличье Ангела Господня стою, и с крылами за плечьми. А ты очи возвел, мя увидал, да так возрадовалси, бросился ко мне и ну мя обымать-цаловать, как сродника драгоценнова. А я тебе на те Царския ласки не отвечаю, инда столбище стою; выпустил ты мя из объятий, я тебе земно поклонился. И вдруг ты, Царь, предо мной содрал с рамен твоих парчовую, жемчугами и златом расшитую барму, распахнул и сорвал с себя кафтан со длиннющими, до полу, шелковыми рукавами, рубаху исподнюю совлек — да так, с голою грудью, предстал предо мной и на грудь твою нагую перстом указал: гляди, мол, Аввакуме, где рана-то моя страшенная, опасная! Я глядел. Рана, будьто кто нанес ея вострой секирой, али охотничьим ножом, али кухонным бабьим мясным тесаком. Длинная, сверху вниз красной полосою, и кровь чуть запеклася; свежая, недавняя. Я крик в нутре подавил. Ладонь к устам прислонил и так, с зажатым рукою ртом, торчу столбом пред тобой. А ты воздыхаешь, голяком-то: зри, протопоп, рану-то мне какову сотворили, так я тя прошу Христом Богом, помоги, излечи!

Излечи, лехко вымолвить. Да непросто исделать. Исцелить только Бог может. Я тебе, Царь, шепчу: давай, Алексей Михайлыч, я тебе пособорую. Соборования благодать излечит не то што рану твою — излечит будущие раны и грядущие дикие муки твои. Давай, соглашайся, прикажи иереев собрать, и станем во круг, и елеем святым запасемся, и начнем! А ты главой брадатой несогласно трясеши. Нет, мол, нет, не надобно мне тово соборования, смертию оно пахнет, давай лучше ты сам, Аввакуме, попытайся. Не хочу я, штобы кто другой мои страдания непотребные видел.

А пошто же, это уж я вопрошаю тя, они-то непотребные?.. с кем не бывает беды... А ты на мя косишься зло. Ту рану, ответствуешь, нанес мне не враг, а друг. Я ему верил всецело. Любил я ево! А он со мною повздорил. Пьяны мы были в тот час оба. Крепкую брагу в застолье вкушали. В палаты мои вместе удалились. Жарко мне стало, я одежонки с себя атласные совлек. Обернулся — и ахнуть не успел, како друг мой уж с обнаженным бердышом стоит, крепко сжимает в кулаке ратовище. Да руку подъял живенько, бердыш молнией сверкнул у мя пред глазами, махнул он, друг-то, мне по голой груди, а я даже боли в те поры не почувствовал. А кровища хлынула ручьем! Горячо стало ребрам, животу. Я прохрипел, ловя воздух ртом, а кровь руками: вон отсюда, пес! Он убежал. Наутро я казнил его. А рана моя воспалилась; молю тебя, излечи мою боль!

И што, спросишь, я в том сне я стал с тобою делать? А вот што. Ложись, говорю, Царь, на пол! Ты лег. Я стал пред тобою на колена. И обеими руками начал съединяти рваные, воспаленные края раны твоея. Слеплять, стискивать... сжимать, гладить, и все это время, што делал так, молился, молился... Молитва, Царь, горы свернет. Молитвою живы будем. Так сращиваю рану твою гнойную — и вдруг прошибло мя: да ведь эта же рана — противу сердца твоево! Точно против сердца. И даже почудилось мне, што сердце сквозь ту рану, бияся, выглядывает. Страшно мне стало. Мороз у мя побежал по шкуре. Восхотел я свечу святую возжечь, штобы пред ней за тебя, Царь, Богу помолиться. Огонь-то ведь очищает. Огонь благословляет. От огня злые бесы, черные духи бегом убегают. Валом прочь валят, откатываются диавольной волной. Восстал я с колен, ищу очами свечу... а ты возлежишь на полу, снизу вверх на мя взираешь и шепчешь мне таково жалобно: отче Аввакуме! не бросай мя! пожалей мя! излечи мя! утеши мя! Я совсем один в целом свете, хоть и семья у мя, и Царство безпредельное на пол-Міра, и огни в широких палатах горят, и яства дивные мне прислужники на блюдах то и дело несут, а я-то сирота! и нет мне житья от моея тоски. Ты-то, Аввакуме, люби мя! А я обласкаю тя как могу. Ты думаешь, я тебя гоню и пригнетаю? Не пригнетыш я твой! Благодетель!

Так ты молвил мне, грешному, и сердце внутри мя сместилося, сошло с оси, сорвалось с кровеносных петель, яко дверь ветхая. А рана твоя лишь под моими ладонями намертво склеивалась. А чуть я встал, спинушку усталую разогнул — разошлися опять края ея рваные в разные стороны. И обнажилося красное мясо, и кровь закапала, засочилась. Жизнь моя, помыслил я так во сне, и те свои сонные мыслишки хорошо помню, крепко, — жизнь моя, вот и ты тако же станеши однажды: нападут на тебя, пронзят копьем, яко Христа, изрежут ножами, а то и башку отсекут, яко Юдифия отсекла Олоферну владыке, — и што ты зачнешь делати тогда? Как будеши со смертново своево одра восставать?

О да, Царь! Покаместь я жив-здоров. Како бы ты мя ни мучил, ни истязал. А дале? Пробьет час, и я исчезну из глаз, мук не переживу, боли не перетерплю. Ты лучше, Царь, повели мя немедленно изрубить, вздернуть... а всево лучше — сжечь. Сожги мя! Огня желаю. Сам, видишь, тебе об огне возговорю! Пламя, оно на нашем, на моем языке глаголет; зело понимаю я ево. Глас ево чую, словеса ево внемлю.

Спросишь, чем завершился мой чюдный сон? А не скажу. Много тебе будет чюдес в одной бумаге, возлюбленный Царь. Забудь мое сновиденье, Державный Государь, и зачем я ево тебе поведал. Так, навалилася тоска на мя тож; такова же, на какую и ты жалился мне в моем сне. У всех людей тоска. Што у холопов, што у князей. Ты вот венчан на Русское Царство шапкою Мономаха — вроде б ты вознесся надо всеми, и щастлив должен быть; ан нет, несчастен ты, и ужас в полночи объемлет тебя, оттово лишь, всесильный Государь, што ты смертен, как все, и умрешь, как все! Како же и я умру! Отмерен срок. Пошто же ты мучишь верного слугу своево? Только ли за то, што я держуся Старой Веры?

Старая Вера! Разве возможно предать своево Бога? Разве Бог твой сделал тебе што ужасное, неподобное, и ты Ево отринул, а себе и подданным твоим стал вещати: лице Бога на образах перемалевать надобно! словеса Ево во древних книжицах переписати наново! креститися не двумя перстами, како все наши предки святые крестились, а тремя, дескать, то верно, а не вера отцов и праотцев! Стыд... горе... Горе мне, горе всей Земле Русской! А тебе, Царь, видать, не горе! Научился ты лгать самому себе! Ты прости, што я так тебе грубо толкую. В жизни у каждово есть путь; да не каждый зрит ево. Говорю тебе истинно, куда итти. А ты мя не слушаешь. Не слышишь.

Пошто мучишь? Ведь замучишь.

А я тя давно простил; Господь мне помог простить; благословляю тя по чудесам Господним благословением милостивым, просветленным; снизойди к благословению моему; я не всякому ево даю, хотя я и паству мою везде, где бы я ни живал, во Сибири, во Москве, во Даурии, да не знаю, где ищо по земли буду жити-скитаться, благословляю широким крестом, тако же и болярыня Федосья, ученица моя верная, друзей ея навек благословляла. Кто такая болярыня, спросишь? Да разве ж я тебе отвечу! Не хитри, што не знаешь ея. Все ты знаешь прекрасно. Она мне является в самые тяжкие времена нищей жизни моея. Вот голодал я тут целую седмицу. Голодал-голодал, да и оголодал. Ни рыбы, ни мяса, да и курочка перестала нестися. Молока бабы до избы не приносили. Неделя миновала постная, я псалмы Давыда зачал пети, Псалтырь мою старую наудачу открыл, да тут скрутило мя в бараний рог, сперва хлад всево охватил, затем огнь лютый; и дрожал дрожмя, и зубы мои колотилися друг об дружку со звоном, яко бубенцы скоморошьи. Думаю: печь растоплю, на печь возлягу! И согреюсь. Растопил. На печь с трудом забрался, члены все охвачены трясовицей. Лег на бок, колена ко груди подтягиваю, яко червь скрючиваюсь. Мыслю так: сей же час помру, здесь на печи, Настасья страху натерпится, мя с печи сдирать, обмывать, хоронить, вот ищо женке хлопоты отчаянные. Весь я во огнь обратился.

И как только я стал весь огнем палящим, как дверь заскрипела и сама собою, без человека, без звука, открыласи; я думал, это домочадцы пришли; а дома никово; а входит баба, и лице мне ея знакомо, и вроде как я поднялся в воздух над печью, в избе повис, и так вишу, наподобие зыбки младенческой; в воздусях парю; а жена та, што в избу вошла, лице свое ко мне подняла и глядит на мя, как на икону святую, таково любовно и почтительно. И очи ея горят, слезами полны. Тут я узнал ея. Болярыня, хриплю, да како же ты тут, каково долго ты ехала, на каких лошадях поспешных прикатила, кто тя ко мне допустил, зачем ты тут?

Она молчит. Ничево не говорит. Лишь на мя глядит. И из глаз ея на мя течет такое дивное успокоение, такая благость и сладость души, што лихоманка зачала отступать, таять и растекаться по углам избы, а я все в воздухе висел, лодкой плыл под потолком, низкая крыша была мне навроде дощеника палубы, все качалось и моталось, я все легче дышал, лехкия мои внутри ребер расправлялись и наслаждались дыханьем, а болярыня моя молчала, все молчала, всегда молчала, вовеки молчала. Царь, молча-

нье иной раз величественнее любого славословия и наисладчайшего величания. Ведь и молча можно говорить. И я услыхал, каково болярыня мне глаголет: ты, отче, не болен; это все больны вокруг тебя. Ты в вере живешь, а люди лишь притворяются, што веруют. А иные и притворяются, што — живут. Страшнее этово ничево быть не может.

Но ты, продолжает так же молча, тех живых мертвецов не бойся. Пожалей их. Научись беседовать молча с ними. Вот како я с тобою сейчас. Молча гораздо более, чем ты мыслишь, Учитель, возможно друг другу сказать.

Слово, слово, слово... Слову конца и краю нет. А жизни — есть. Страшимся мы этого края. Да все к нему и идем, к нему движемся. Срок придет — кости твои, отче, зверями хищными, псами приблудными станут разгрызены, воронами зловещими расклеваны. И што? Где ты сам будеши в тот миг, где душа твоя живая в те поры пребудет? Гроба хочешь, Аввакум? Не будет тебе гроба! На земле будешь лежати; под Солнцем, Луною, звездами и дождями; под тучами, быстро по небесной тверди бегущими, инда бешеные степные кони; и люди прах твой под ногами не узрят, и люди, равнодушные, иные, другие народы, инакие поколения, останки твои, с землей и травою перемешанные, станут топтати, вминать в них станут лапти свои и сапоги свои, и босые, жалкие стопы свои. Да тот же час Ангелы твои рядом с тобою возлетят! Богородица близко к тебе встанет, улыбаясь жемчужно, сияя на тебя глазами, што шире лазоревых небес! И будешь счастлив ты!

Молвила так — и поднялась вверх, в воздух, и так висели мы с нею друг против друга, и сердце мое занялось. Я видел шелк ея волос, и как они по раменам струятся. Она висела противу меня в зыбком тумане, полумраке избы, подобно иконе святой. Я не знаю, Царь, с чем сравнить ея лик. Я знаю, ты замучишь ея, как замучил мя. Ведь болярыня Старую Веру исповедует и за мною идет.

Царь! а ежели ты, ты за мною пойдешь!

Вот тогда Русь наша будет спасена.

От чево, спросишь, спасена? Да от распри. От смертей. От огня; ведь мы, кто во Старой Вере живет, будем сожигати себя во срубах, избах и овинах, в ригах и на гумнах, да просто, Царь, на площадях себя жечь, аки дрова во печи, при всем честном народе. Сердце не остановишь, покаместь бьется оно. Душу не сожжешь, пока тело не сожжено и душа верой крепка. Я, по-твоему, еретик? Да ведь ково только не именовали еретиком! И Господа самово именовали. Для первосвященников Анны и Каиафы Он и был самый главный еретик. В темнице мне печаль. Но когда раздумаюсь о вере, радость охватит: не изничтожу! не предам! Остригите власы! Выдерните браду мою по волоску! Прокляните мя так и сяк! Замкните на сто замков в новой темнице, в далекой страшной, густой тайге! Не страшно умереть за любовь Господа, во имя Господне. Святое Евангелие, Царь, читай! Это есть единственная на земле Книга, кою нужно читать каждодневно и можно вкушать вечно. То наш хлеб и наша вода; наше вино и наше прощение. Не держи мя за своево вражину! Не враг я тебе. Я любви полон, а не яда. Ненависти, што в иных людях вижу, нет во мне. Да, грешен! А кто из нас не грешен! Но покаюсь и боле не творю тово греха.

Затем изволь поклонитися тебе до земли, Царь, прощай, Государь, я-то жив, а ты-то не знаю, всяк под Богом ходит, никто не знает часа своево. Челом бью и все мои муки тебе прощаю. Не хотелось тебе о страданиях балакать, но уж такова моя судьба: я радости хочу, а мне на блюде яства несут: боль, крики, батоги да кровь, а боле и ничево.

Царь! Помни, што и в тебе кровь течет. И в людях, слугах твоих. Кровь во всех, и кровь всегда. Не лей ея понапрасну! Святи ея! Прости ея! Сбереги ея! Ведь мы народ, не лей кровушку народа твоево, Государь возлюбленный.

Из лесов диких мысленно гляжу на тебя и молюсь за тебя; за ково же мне ищо молиться.

(любовь, она же искупление: Аввакум и Феодосия)

Он чуял себя временами малым мальчонкой. И словно бы рядом с ним братики, двое, а может, трое, и вроде бы в хворости, и вот-вот покинут сей Міръ, ибо все тленно, пременно все, и жизнюшка малая, чуть занеможет, разъест ея изнутри незримый таинственный Червь, во сне он особо тщательно трудится, грызет человека, выгрызает не хуже лисы лакомый кус из мертвой мыши; и вроде бы сперва один братик умирает, за ним другой, даже и не в кроватке, и не в зыбке, младенчик, а прямо на полу возлежит, корчится и стонет; и внезапно зычный, звучный глас над Аввакумом произносит: СИЕ ЕСТЬ СЫНЪ МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ И ВОТЪ ОНЪ УМИРАЕТЪ И БУДЕТЪ ЖИТЬ ВЕЧНО

Он оглядывался. Никого не наблюдалось в остроге. О нет! сквозил тут некто живой. Скрипела, отворяясь, затяжелевшая от сырости, а после скованная ночным морозом дверь. Знать, сняли, али сбили замок снаружи. Входила женщина. Он отшатывался: баба!.. пошто баба-то здесь? Щурился. Не жена! Нет! А кто такая? Вглядывался. А она все стояла у двери, ближе к нему не шагала.

И очи Господни изнутри наконец вспыхивали ему, в ево бедной, кружащейся шибче звездново ковра округ Полярной звезды башке: БОЛЯРЫНЯ!

Господи Боже Ты мой, вылепляли с натугою занемелые, посинелые от голода губы, Федосьюшка, дщерь возлюбленная, дщерь моя духовная, ничуть не греховная, откудова же ты-то здесь... в обители сей безумной, коловратной... позорной, непоглядной...

Ах, то ведь не вертоград уединенный... не Райский Сад... во Время шагнул ты — не оглянися назад...

Он шагал к ней сам. Шаг, другой. Шаги как века. Один век, другой. Ты моя птиченька! Каково тя принес ко мне Дух Святый? Али обозом за шесть тыщ верст ехала-тряслася? Аль в виденье созерцаю тя, лицезрею, ученица верная моя? Шептал, приближаясь: ты-то сама вся, береста живая, белизной слепящая, как тайно писанная грамотка, и шуршишь, и в трубку свиваешься, и кто тя прочтет?.. разве я, негодный, утлый, тя недостойный? Исус, вот бы Он положил нам закон — во Брачном Чертоге совокупитися. Да Настасья у мя! Каково брошу ея! Невозможно сие!

Подошел вблизь, вплоть. Бился в груди под бичами Господь. Колокол гулко охал, чисто, честно. По ударам сердца в тебе можно поверять часы Міра: коли бьют тяжко, мерно — с Міром все будет спокойно и знатно, силы в нем прибудет, а войны убудет.

Рот с трудом разлепил, будьто засох он в болести, спекся; истязальной кровию запекся.

— Я тебе, голубица моя, грамотку посылал в топорище бердыша... стрельца одного, парня доброго, чистого... обещано им было мне помочь, письмецо то тебе передать. Ты тут... значитца, посланьице получила?.. Прочла?..

Болярыня молчала. Нежная, призрачная улыбка стала медленно, обреченно взбегать на ея бледный лик и тихо, аки вода из-подо вешнево льда, расплываться по нему, холодному и молчащему.

— Што помалкиваешь... слышишь ведь, што я тебе балакаю... Разучился я, голубонька, говорить по-людски в заключении, а все по-птичьи, по-зверьи норовлю то стон, то крик из себя выхрипнуть. Каково ты там?.. во светлом Міре, не таежном, диком, там, где грады высоко строят, где малиновые звоны с колоколен по шири всей гремят-звенят, над реками, над озерами прозрачными... Христово стадо пасешь?! Ты хоша и баба, а головушка твоя управительная, не плоше любого мужика все заделье скумекаешь!

Вскинул браду. Стрелял очами. Болярыня глядела на нево из-под ресниц, како одни бабы глядети умеют.

И молчала, молчала.

Он вздохнул длинно, страдально, будьто в минуту занемог.

— Что рот на замок?! Зубы на крючок?! Ты мне... поводырю твоему... изменять удумала! Знаю, знаю все про твои грехи бабьи! Да нет, не помышляй худого... никто мне не донес... а сон я видел. Сновижу!.. и Господь мне все, все во снах моих изъясняет, што с моими сынами да дщерьми духовными там, на воле, деется. Ништо не скроешь! Как ни старайся. Как ни ховай грешок за пазуху, в сумешку. А!.. морщишься?!. тяжко тебе? Да, тяжко. Слушать правду всегда тяжко. Иные людишки не могут правду слушать; дыхание у них на замок амбарный запирает, и дышать по-Божии, вольно и сладко, не смогают. А я, во сне непотребном тебя увидав, — молился! Вскакивал средь ночи, на колена — бух пред иконой, и молился! Молюсь, инда горю огнем! И вышептываю Богородице: Пресвятая Богородице, охрани дочерь мою возлюбленную, Федосьюшку милую, единственную, от страсти пагубной, от любови треклятой... да не любовь то, Мати Богородице, а напасть, а соблазн велий, а Геенна в Міру огненная! И разорвала Матушка Богородица руками Своими нежнейшими ваш треклятый союз, што зачался, да не подрос у Міра во брюхе, да так на свет и не породился! Слава Богу за все! Богородице слава!.. Што... молчишь...

Женщина молчала.

Он дышал шумно, многозвучно, многострунно, многотрудно, звучал соцветием хрипов, как заморский диковинный орган.

Закричал неистово.

И женщина вздрогнула, как от змеиной плети удара.

— Дрянь таковская! Уродина! Бабешка полоумная! Гадина подколодная! Хватай нож, тесак кухонный, да и выколи око твое, што на грех соблазняет тя! Лучше без зренья на землице остаться, нежели зреньем тем во тьму диаволю ввергнутой быти! Вот в чем ты, в каких таких тут мехах стоишь предо мной?!

Протянул руку. Цапнул пятерней за мощный таежный треух, что возвышался грозной мохнатой митрой на голове женщины. Она не успела отшатнуться. Он резко сорвал треух и, озлясь, столь же неистово швырнул ево на пол. Треух шмякнулся на доски, словно убитый зверь.

— Што, баба, шапку себе не могешь бабью пошить?! Кику разукрашену гордо носить?! Плат вышить шерстяной, белый розанами, будьто разбросать яркие цветы по снегу?! Пошто в мужика играешь?! Не мужик ты! Не мужик! Баба! Баба!

Она стояла с непокрытой головой. Во срубе, а будьто на морозе. И странный, сновиденный ветер внутри избы скорбно шевелил ея волосами, перебирал их хладными невидимыми пальцами: так пряха придирчиво и осторожно перебирает пряжу, ищет, где порвалася нить.

Он протянул руку. Отвернув лицо, вслепую, на ощупь нашел ея плечо; оно само скользнуло под ево дрожащую ладонь, угнездилось там темно и тепло.

— Ну, слышь, прости...

Сжал ея плечо крепко, больно. Худые длинные пальцы вдавились, как в серое тесто, во шкуру волчьей шубы.

— Ну, ну... горячий я... Не сердиси, право же слово. Да! ревную. И возревновал! Так аз есмь живый. Живой я! И страдаю, поелику живой. Мучусь вот... из-за тебя... а ты — тут как тут...

Оторвал руку от ея плеча.

Измерил всю невидящим, страшным, горящим взором; бешаными глазами — перекрестил.

— Да ты мой сон! Опять — виденье! Опять — бред! Сатанинский морок. Изыди! Изыди!

Широко, зло двуперстием перекрестил ея.

Она стояла все так же: тихо, спокойно, рядом с ним. Простоволосая, треух на полу валялся.

Он упал на колена. Громко бухнулся; колена в пол ударили, яко два костяных молота, и стук тот под сводами тюремной избы раскатился, ровно под сводами храма.

— Сон мой! Болярыня! Прокопьевна, овца заблудшая! Голубица чистая моя, да, и вся такая моя, что мне самому-то страшно! Инда страх мя берет не токмо видети тебя, да и думати, матушка, о тебе! Господь придет и будет всех нас, грешных, вынимать из могил, скелеты наши плотью одевать да судити Страшным судом. И нас, и нас с тобою посудит! А как же! Перво-наперво! Небеса в свиток совьются! Ты помнишь словеса сии?! Помнишь?!

Она молчала и улыбалась. Ветер светлые ея, метельные власы шевелил.

— Звезды с зенита обрушатся! Землетряс корку земную, черствую поколеблет! А мы с тобою што?! А мы...

Задохнулся.

— Обнимемся...

И тут случилось чюдо сновиденное, нежданное. Женщина протянула руку. И положила руку на темя протопопа — так иерей возлагает на главу исповедника епитрахиль после кровавой исповеди. Аввакум отозвался на прикосновение всем телом: так жизнь всей плотию отзывается на смерть. Так умирающий всем духом отзывается на жизнь, ежели ево — жизнью поманят.

И второе чудо произошло: она тихо, медленно опустилась пред ним на колена. Оба стояли, друг против друга, коленопреклоненны. Широко распахнуты глаза. Нет в любви, людие, ничего мірсково. Есть только неотмірское. Небесное. Да и не надо обниматься. И целоваться тоже не надо. Душа целует душу. Сердце милует сердце. Дух ласкает родной, заблудший дух, опять вводя ево в лоно судьбы, в чертог неизреченных чудес.

Руки опущены вдоль тела. Колена доски древняной тюрьмы прожигают. Глаза ищут глаза. То ево Болярыня к нему навек пришла; и теперь даже ежели уйдет, то все равно: счастливы оба лишь тем, што друг перед другом навек на колена встали. Все равно што помолиться вместе. Все равно што есть, пить вместе — на краю великово и последнево голода. На краю великой ночи Страшного суда.

(Глас Никона)

Никово я не раскалывал. Никово не убивал. То мя зачали убивати, а я восстал на глупцов, на скотов, на козлищ рогатых! Я поклоняюсь Богу-Свету; слава Тебе, показавшему нам Свет! — восклицаю я, литургисая, и кто мя сможет упрекнуть в том, што я насильник, гордец и палач! Да никто! А этот... этот... Я уж и в одну темницу ево брошу, и в другую швырну, нет, все упорствует, все за старые Псалтыри да Четьи-Минеи, как за грешную душу, держится: а, ха, ха, да ведь Времечко-то поперед ушло, укатилось, увалилось за нищий окоем. Иное Время настало. И весь сказ! И надо подлаживаться под Время, приласкиваться к нему надо, иначе оно тя замордует, излупит, сгубит почем зря! Безжалостно Время. Неподвластно нам, человекам. Только над туманными снами своими да над ропщущей паствой своей мы смогаем быти господами; над всепожирающим Временем мы не властны, не ево мы цари.

А нынешний Царь... што нынешний Царь? Славно я втолковал ему, каковы деяния надобно с народом произвесть, штобы народ сам, гуртом, овцами, хозяином обласканными и собаками злючими сторожимыми, за новизною побрел. Новизна! Ей завсегда противятся. Ея боятся, ненавидят. Ну и што, што война! Да, началася война!

Да, внутри народа самово! Да, гляди-кась, я-то, видать, с войной поспешил! Да времени земново нетути у мя, и нет у нас ни у ково. Торопимся! После нас — кто за нас наше правое дело сделает?! Да никто. И ты, Аввакум, лучше мя то ведаешь!

Все понял Царь; согласен со мною стал во всяком начинании моем, во всяком хотении; да я и обнаглел до тово, што стал — Царю! — приказывати. Так! Не таюсь, не токмо новизны восхотел, и не токмо славы земной, преходящей, огнем времен сжираемой; власти — захотел! Да такой, што превыше царской! Ого-го какой! Необычайной; таковой и в самой орлиной Византии было не сыскать! Штобы Русь не токмо пред обновленным Богом распласталася на коленях, на животах, рыдая, от старины к новизне ползла, но и поклоны мне отбивала, яко пред образами, мне, да, мне! всемогущему Патриарху, ищо немного, и церковному Царю!

...А то и настоящему; чем я хуже живаго Царя? Да ничем. Может, и мне суждено почуять под моими смертными, жалкими костями позолоченный холодный трон. Скипетр да державу ощутить в холодных руках. Руки-то хладны, да сердце огнем занимается. Огнем, слышишь ты, Вакушка! И огнь тот никакою водою не залить.

А война? Што война! Война идет всегда. Нет на Руси времячка без войны. Война, она меж мирами грохочет. Мир, птичий да поющий, трепещет, людей обнимает, плачет-жалится, смеется на площадях скоморошьими зубешками. У! Все скоморошье племя начисто повыведу! Порублю, пожгу! Пущай визжат аж до звезд! Любо.

Война! Смута являлась. Лжедмитрии вспыхивали и гасли. Злобная Маринка, поганая пани, похотела стать Царицею Русской. Кому война, а кому мать родна! Человек, Вакушка, издревле убивает человека. Так назначено; так положено. И во Ветхом Завете про сие значится, и в Новом; разве ж не распяли Христа самово римляне в медных латах на Лысом холме? А, ты мне вновь про то, што мой Раскол вывернул Русь наизнанку! Ха! Ну да, вывернул. Яко чулок овечий, бабкой вязанный! И то суждено! В любом прошлом, знай, таится будущее. В каше, кою я, Никон, заварил, прячется — будущая Церковь!

Ищо вспомнишь мя. А может, не вспомнишь, а я тя, пес смердящий, в застенке до косточки сгною. И носа не высунешь.

Нет, не так: сожгу я тя, Аввакуме. Яко книжищу старую, старуху умирающу. Не Богова больше она. Новые, истинные прилетели от ромеев письмена. И ты не Богов. Ты, как и я же, гордыней одержим! И ищо пуще, нежели я! Такова гордыня жрет тебя, на глазах моих сжирает, што лишь буйное пламя, в ево же языках столбом стоя, вопить станешь до небес, излечит ея!

А ты мне про што опять?! Про то, што сельский поп обедню похмелен служил? Упился вусмерть и постыдно на паперти упал и так валялся, покаместь женка не приковыляла и не утащила ево в избу, под мышки уцепив? Ах, ах, Аввакуме! А ты у нас, видать, безгрешен! Не пьешь настойки крепки, девок на исповеди не щупаешь, не дрыхнешь, пуще медведя в берлоге, посля шумново празднества! Ни гулять тебе, ни играть, ни по полю скакать! И то правда, ведь не скоморох ты, Вакушка, а протопоп! Чистейший ты протопоп, алмазный, как я погляжу... А ты не зришь, што ли, што страна наша, Расеюшка, расширяется на Восток, лехкия лесные раздувает, прибирает к рукам Москвы и Сибирь, и восточные лимонные земли, и вот уж Тихий окиян под ногами плещется, и вот уж на заходе Солнца запорожцы с Русью союз заключили! Третий Рим мы и есть Третий Рим! А четвертому не быти! И мы, это мы, да, оба-два, Царь Алексий и я, грешный Никон, содеем новое Вселенское Православное Царство! А стольным градом ево станет, ну ты угадал, гордец, конешно, Москва!

Окромя Москвы-матушки нету Вселенсково Града на земле!

Токмо... ну да, да... Град Небесный Ерусалим... златой ковчег надзвездный... четыре Ангела на страже по стенам... на четыре стороны света глядят...

Што там бормочешь? Под нос себе шепчешь? Не слышу! А, про Запорожье да киевские земли! Они-то под властью Царьграда. А мы уж два столетия как сами народом правим! Веру ево на путь направляем! Да, зрю превосходно, различаются и книги наши, и служба наша! Да не бойся: все я приведу ко единому, Вселенскому обряду. И — нишкни! Што на Украине, што на Руси, што в Сибирюшке, што у моря Восточново, Охотсково! А там, помяни мое слово, Вакушка глупый, а там вся земля-земелюшка будет наша. Наша!

Русский, слышишь, весь Подлунный Міръ будет!

Разве за то не жалко жизнь отдать?!

Да, по-разному молятся, по-разному крестятся, по-разному служат! Да приведем всех скотов во едино ярмо! И будет пахать народ, яко вол, землицу свежую, пушистую по весне времен орать!

Да вот беда, Аввакум. И кормишь ты ту беду с руки, язви тя в Бога-душу! Сам — кормишь! Собою — кормишь! Упорствуешь и воюешь! Ты сам вызвал ту войну. Сам на бой мя вызвал! И Царя! Наглец! Да Царь наш — наместник Бога на земле! Царь и народ — одно! Ежели Царь повелел — народ костьми ляжет, да исполнит! А ты?! Упрямишься! Неистовствуешь! Мя как угодно клеймишь и грязью поливаешь! А я-то тебе друг! Я-то тебе не враг! Я-то тебе...

...Помнишь, ну вспомянь, како мы с тобою на санках тех... на саночках катались... на салазочках... с горушки, над реченькой нашей застылой... изгибы ея зальделые помню... инда крыла, инда шея у лебедицы... река зимою, да она вся лебяжья, царевнина... как хохотали мы, Вакушка, когда с тех салазок в сугроб валилися... и ты за спиною у меня сидел, и крепко, таково крепко мя обхватывал... аж дух замирал, до тово крепко... будьто задушить хотел... и смеялся громко, на все небо — смеялся... весело нам было... весело...

...Да знаю, знаю, што ответишь. Што, мол, не ты сопротивляешься мне да Царю — противится народ. Народ! Могучий наш народ, сильный. Он, вижу, и противится моей да царской воле сильно. Но, знаешь ли, ничево необоримово на свете нет. Нет! Што носом мя тыкаешь в незнание мое?! Ну и што, грецково языка не знаю! Ну и пес с ним, с грецким языком! Арсений Грек, прислужник мой в делах Церкви, все поправит!

Упрекаешь, што множество ошибок да описок в книгах византийских да веницейских?! Согласен! Имеются! Мне об том Арсений толковал! А в наших што, корявостей мало?! Ух как много! А какая тебе разница, Аввакуме, тако звучит: в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго, али этак: в Духа Святаго, Господа животворящаго. Што тут преступново?! Убрали словцо — ах, жальба какая! Обряд можно поправить, да и сам догмат наново начертать, ежели времена сместились и иной воздух люди вдохнули!

За старину, за старину, за праотцев воюешь... сто раз мне то повторил... яко несмышленышу... Што мне кричишь, криво рот разеваешь? Што я упрямый мордвин, леший раскосый?! Да! А может статься, и леший! Из лесов Сундовика сюда, во Москву, приперся. Мыслишь так, ты один крут и жесток? Я тоже крут, надобно, и заломаю на дыбе тебя сам, собственноручно, и тоже жесток, жестче железной лопаты, грабель железных, вострой железной секиры!

Жесток... или жесток? А какая разница. И тут разницы нет. Один звук во слове уплыл, другой приплыл. Гордыня все спишет. Ея власть. Без нея ничево не сотворишь могучево, вечново тем паче.

И Царь жесток. И он не знает пощады. Таким, помысли хорошенько, и должен быти правитель государства громадново, како море-окиян. Он повелевает, он руль времени вертит — и, зри, не страшится будущево. На кой ему будущево бояться, когда надоб-

но настоящее строить! Мы — строители! Зодчие мы, заруби себе на носу, Аввакуме! А зодчий што? Он месит, кладку кладет, рубит, жжет, сечет, вешает, рушит, а после опять возводит. Вот и мы тако же. Всех перевешаем! Всех порубим! Пожжем всех несогласных! А после на костях, на крови новый храм возведем. То закон бытия, Аввакуме! И ты ево ведаеши лучче меня!

А Царя не тронь. Царь велик и страшен. Хотя молод, а хваток и мудер. Усмирит он вставшую на дыбы лошадь, безумную Расею. Безумен русский человек! Без Царя он в башке, да с огнем во сердчишке. Уважь Царя! Не противься ему! Смирись ты, ну смирись, прошу! Не просить мне тебе надобно, а приказывать! Не баять с тобою, како с шабром, а сечь да сечь плетьми-девятихвостками! Штобы шкура твоя с тебя кровавыми клочьями слезала! Штобы ты восчувствовал: смирение, оно одесную тя стоит, а терпение — ошуюю!

Инако ты мыслишь, Аввакуме! Не вливаешься ты во церковный хор. Слаженно, ладно, знаменным распевом, в един глас со всеми не поешь! Статочное ли это дело! И не тверди, Бога ради, што Раскол наш — то страшное, невозможное, дикое безумство, што мы с Царем злее зверей; ты што, Смуту забыл? ведь она в те поры кровию да огнем нашу землю залила, когда мы с тобою на тех салазках... по тем горушкам да сугробам... Дети, што с них взять! Катаются! Смеются! А про опричнину отцы да деды на сон грядущий нам, мальцам, у печи рассказывали; так волосья дыбом вздымалися! Разве ж нас жестокостью да кровью удивишь! Мы ко всему привычные! Пошто пророчишь, што Церковь наша замрет и умрет?! Да никогда тому не бывать! Да ни в жизнь! Врата Адовы не одолеют ея! Што каркаешь об том, што мы все духовные погорельцы, и по міру пойдем с клюкой да сумой, да в духе, о, в духе будем милостыньку клянчить?! Как не уразумеешь ты, што мы — вперед движемся! Во грядущее! А ты нас всех назад тянешь! Рак ты, Вакушка, рак и есть! Ужо обрублю я тебе твои распроклятые клешни!

Не повинуешься?! Выю не гнешь?! Невероятна, Аввакуме, гордыня твоя! Я и не мнил, што ты такой молот железный, таковский кремень неразбиваемый! Да я ж тебя разобью! Расколочу! Яко орех кедровый, разгрызу! Во прошлое глядиши?! Гляди! Глазенки все выглядишь! Я-то воевать с тобою буду до победы! Иначе я не могу! Нам с Царем над тобою — и надо всею староверской братией — великая победа нужна! Такова война! Пускай мя низложат. Пускай изничтожат. Муку претерплю. Я тож страдати умею. Молча буду под пыткою стоять. Но ты, ты мя не победишь. Помни: нет ни старой веры, ни новой, есть только Бог наш Христос! Али я тебя анафеме предам, али ты мя анафеме предашь. Поглядим! Утро вечера мудренее!

...А салазки все катят... все катят с обрыва... и снег, Вакушка, снег-то все блестит... яко адамант... инда глазам больно...

(идут навстречу друг другу)

ах идем идем идем навстречь друг дружке под снегами-дождем ногами перебирает батюшко ноги переставляю я вот мы и далекая крепкая розно бредущая семья батюшко крепче за руку девчонку держи та девчонка смекай и есть вся твоя жизнь а я мальчонку крепко за руку держу таково боле никогда на землице не рожу то мой сынок то не мой сынок немой да чужой сердчишком одинок сердчишко заячье стучит тук да тук никогда ни в жизнь не разнимем рук я знаю как тя мальчонка зовут идем той дорогой там берег крут нам надо на кручу штоб видеть вдаль штобы ничево никогда не жаль батюшко идет я иду во облацех пролагаем мы борозду скоро ли сретенье через века батюшко жизнь моя мне велика батюшко жизнь моя она ведь твоя вся-вся а девчонка глядит смеяся кося я знаю ея имя выну ево из звездных пелен гляжу глазами косыми на родильный туман времен

(Аввакум, Никон, Патриарх во дворце. Сон ли, явь)

Зло да каиниты. Наваливаются, аки тучи чернеющие. Что есть зло? Возможно ли ему быть неискушенным добром?

Он был подхвачен ветром, суровым и детским единовременно, и во мгновение ока перенесен во раздольные, просторные, как поля-луга во солнечный ясный день, палаты. Давно уж не разумел, што с ним в темнице творится. Ну пущай будет так, кивал сам себе, а потом эдак, все смиренно претерплю. На возвышении, в резном богатом кресле, сидел человек. Он шибко, быстро, мигом одним, угадал: да это ж Царь. И, как на грех, забыл, как Царя-то величают. Забыл! Запамятовал имя ево! С ума можно сойти в застенке; женка слезу точит денно и нощно; детки... забыл уж он, сколь их у нево, то помирают, то рождаются, то растут, то старятся, а он все не старится, он все в силе, да на кой ему эта силушка, лучше бы Господь силу-то у нево взял, а щедрой дланью ему смиренную слабость дал: лечь в домовину, им самим сработанную, сложити руки на груди и тихо ко Господу отойти, да ведь таково счастия не дает, а шепчет прямо в уши: живи, живи, тебе не вынести Моей любви.

Царь восседал молча, сжимал в руке скипетр, в другой — тяжеловесную державу. Скипетр сверкал каменьями, держава круглила позолоченный планетный бок. Рядом с троном, внизу ступеней, стоял брадатый Патриарх. Да, так положено и разделено от века: власть Государя, власть Церкви, — а у нево, жалкого протопопа, што за власть? Да и власть ли у нево? Да и нужна ли она ему?

Все рвутся к трону. Все рвутся быть первыми. Чтобы во славу вцепиться, на гребне прозрачной волны ея засветиться. Чтобы оттуда, с таким трудом, мукой и кровью достигнутой славы, вниз презрительно глянуть, увидать людишек-мурашей, прищуриться, усмехнуться: о, я моей удачи, Луны и Солнца досягнул, снизу мя всем видать, а мне и недосуг лики все ваши разглядывать, я тут, в высоте, сам по себе, с Богом рядом, ем-пью с Ним из миски одной! Да не из плошки одной ты с Ним ешь-пьешь, а сердце твое, в погоне за вожделенным первенством с ума спрыгнувшее, тешишь; величием твоим размалеванным баюкаешь; а сбрось себя с гребня — куда сверзишься? Обо што разобьешься? В брызги? В осколки...

Так друг на друга молча глядели: он, Никон, Царь.

И што будет? Што нынче станет?

Явь обращалась в видение. Давило бремя греховное. Он повел плечами, передернул ими, молча помолился: Господи Вседержителю, избави мя ото лжи велией, от напасти гордыни. Царь первым раскрыл рот: по чину. Што, Аввакуме, злата-серебра не имеешь, сундуки с яхонтами-лалами во подполье не хранишь, што же тебе, протопоп грешный, таковую радость нас ненавидеть доставляет? Пошто с нами насмерть сражаешься? Ответствуй!

Никон тут встрял. Начал тихонько, исподволь. Голос пополз тараканом запечным. И все разгорался, како старый самовар, разъярялся. Опала царская и гнев царский никогда напрасными не бывали! От Царя все надобно претерпеть! Сказано в Писании: претерпевший до конца спасется! Ты, Аввакуме, был изначалу плотский сын родителей твоих и всех предков твоих наследник, а чьим духовным сыном ты нынче мнишь себя?! Господним разве?! Да ежели бы ты был воистину чадом Господним, ты бы понял, что мы тож, и Царь и аз есмь грешный Никон, за высоту и чистоту Господа ратуем! Ни за што иное! Чем зраки твои демоны ослепили, заслонили?! Што ты в сопротивлении нам на земле существуеши? О небесах забыл? О грядущем праведном полете там, в Райском Саде, меж херувимов и серафимов? Ликуют Ангелы на небеси, коли душа грешная, всю жизнешку на земле воевавшая, просветляется и к их летящему хору примыкает! Ликуют, слышишь! А о тебе, неразумный протопоп, кто будет ликовати?! Кто о тебе возрадуется?!

Он опустил голову. Подбородок ево коснулся груди. Борода топорщилась, пряди шевелились, как живые.

Кто обо мне заплачет, лучче бы вопросили, тихо, еле слышно сказал он.

И умолк.

Царь сдвинул брови. Служка подошел, робко взял у Царя из рук державу и скипетр. Золотыми огнями вспыхивали и гасли Царские одежды, длиннющий, в пол, парчовый кафтан. Руки торчали из раструбов рукавов беспомощными березовыми поленцами, и белые праздные пальцы гляделись деревянными, будьто их пьяный плотник сработал. Нынче яблочный год будет, ни с тово ни с сево буркнул Никон, щурясь на затянутое подзором мороза странное окно: не квадратное, а почти круглое. Окно-Луна. И катится прочь. Протопоп вздохнул. Люблю яблоки, тихо и медленно сказал, люблю особо в Яблочный Спас. Яблочком любо разговеться. Вы бы, владыки полуміра, хоша бы женку мою с детишками пощадили, ея бы на волюшку пустили, мя-то как хотите пытайте, взаперти держите, измывайтеся, только бабу, бабу пощадите. У бабы волос долог, ум короток, да, да сами знаете, чай, не маленькие, без бабы и жизнь не продолжится, и дети не народятся, и время прекратится. Баба, владыки, длит время. Она ево пестует, рожает и дале за собой, как телка на вервии, ведет.

И опять замолк.

И так стоял.

Противостояние, не иначе.

Никон разинул рот да как заорет, како глашатай на площади людной: а пошто словесами дикими народ весь русский смущаешь! Пошто людей за собой в дебри древлей ереси уводишь! Это ты еретик, а не мы еретики! Это ты волчара, а не мы волчары! Ты изглумился над священным, изговорился, измололся неправедною речью, перегорел, пережегся в пепел, како забытая в печи головня! Это ты, ты мертвец, ржавая кочерьга, тобою только угли остылые из жаровни выгребать! Да на снег выкидать! А потом — в угол тя, в угол швырять! Ухват ты проржавелый, и хваталка сломана! Знамя ты в клочья порванное, и древко гнилое надломилось! И все твои к народу бедному воззванья, и все твои писанья, и проповеди все твои — глум, глум, глум скомороший! Войну в открытую противу Церкви Божией ведешь, так и знай!

Умолк. Так стоял. Задыхался.

Пот со лба ладонью отирал.

Царь молвил хрипло: будешь противиться и дале, на костре сожгу.

Он выпрямил становую жилу. Спина хрустнула, почудилось: надломилась. Почуял себя храминой, под кою пороха подложили да тот порох подожгли, и затряслися стены, и осели, осыпали наземь красоту и упованье древлих фресок. Почуял главу свою златою маковицей; и будьто заместо волосьев пламя; то ли закат, то ли факелом плоть подожгли. Летели мимо лица иконы. Срывались со стен. Какие разбивались о землю, какие улетали в небо. К себе домой. Позолота лилась, расплавленная. Паникадило качалось, свечи гасли, вдруг вспыхивали все, бешено, разом. Лампадное стекло звенело, и лизало пятки лампадное масло. Пахло миром, порохом, грозой, грядущим. Он понимал, што должен прогудеть колоколом распоследнее слово. И качнул веревку звонарь, и ево колокол загудел, мерно и бесповоротно. Он понимал, что скажет сей час бесповоротные слова. И верно! И только так и надобно жить!

— Костер мне будет како Бог. Господа на мя нашлете в виде огня. Это мне знак будет. Не только мучений моих будущих, но и небес моих лучезарных.

И больше ничево не стал говорить. И так досыта.

Царь говорил. Никон говорил. Они оба, над ним владыки, говорили, говорили, говорили. А он молчал. Он стоял и думал: то ли зрю, то ли чую, то ли жизнь, то ли тьма, то ли Царские палаты, то ль застенок проклятый, то ли я пес кудлатый, то ли мне за мое

грядущее — прежняя расплата. Может, я уже во прошлом? А будущее возьмет да и никогда не придет?

Небесное боярство! Ангельское Царство! Што есть земная власть? Поцарил, и нет тебя! А што есть земная слеза? Вытечет, утрут, о радости заутра соврут. А что ж такова земная молитва? Вот она, небес ловитва! Молись, грешный протопоп, не ленись!

Они говорили и кричали, потрясали кулаками и бородами, стояли, садились, ходили взад-вперед; Царь слез со трона и мотался, аки хмельной, Никон неистово дергал кулаком браду свою, будто спутанную рыболовную сеть. Он ничево не слышал. Услышал только, когда во внезапно слетевшей тишине гулко раздался, како с небес, како во храме из-под мощново купола, глас.

— Будет война, людие, неразумны вы, разрубили сами себя мечем надвое, и война грядет, и на множество лет вперед. Готовьтесь к ней. Воинство со стороны одной, воинство со стороны другой. Схлестнетеся, родные. И рок то ваш. Наказанье ваше. За нелюбовь. Бога оставили. Бога забыли. Теперь — бейтесь насмерть.

И в полной тишине он сделал шаг вперед, ко трону, и голою рукой нежно, осторожно коснулся обитой бархатом деревяшки, как в ночи — теплой женской груди.

(народ родной)

Ах, люди, люди! А вы ведаете, што оно такое — толпа? А я зело ведаю, так больно ведаю, што потроха мои все сплошь огнищем полыхают. Одно дельце, людие, — болотные огонечки; иное — егда полымя тя крепко охватит, жутко, и завоешь-заблажишь, свету не взвидишь, до чево томно! Толпа тож огонь. Огнь поядающий! Нету конца-краю пожару тому. И идет, и идет, наваливается, красным лоном теснит, в алые хищные губешки втягивает тя, птаху человечью малую, несмышленую. И то, да разве ж смышлены мы?! Смысл наш нищий давным-давно на инаких пожарищах истлел. Упорно воспоминаем то, што забыть бы, што вспоминати никогда не велено! Кем не велено? Господом? А хоша бы и Господом. Под Ево лезвие главу надобно склонити. Выю гордую нагнуть. Слишком мы заносимся, черезчур.

Толпа, толпа. Наплывает, слепа. То притечет, то отхлынет. Нет удержу. Не дай Господи очутитися середь толпы. Задавят! Сомнут. Инда в кулачище огроменном, люди тя, яко ягоду, сожмут, и сок твой весь, по красной капле, выдавят. Кровь, она ж на морозе дымится! Все жаркое на холоду — дым испускает; словно бы горит, и дым валит. От толпы средь зимы крутится в небо дым. Толпа — пожар. Там, внутри толпы, человек — не Господень дар. Не благословение, нет. А иной, страшный свет. Глаза у всех горят. Рвется наряд. И ветхий-бедный, и самоцветный, богатый; толпа — вот расплата, вот ход ея мощный, проклятый, она Царям отрада, пожива для ката, умножена трикраты, бабы все рожают да рожают детишек, выпущают из живота, из подмышек, люди, люди — ветра да пепла излишек...

Я толпу видал-слыхал, в ней хаживал, ея по боку многорукому, многоногому — поглаживал. Тек в ней, пребывал ея кровию, ея холодной вешней водой. Тогда был — эх, молодой! И не страшился толпы. И не страшился судьбы. А теперь... закрутит людской водоворот, и блазнится мне, што душа вон из телес уйдет, што я — вот-вот, немедля, прямо нынче! — помру: хорувью забьюся на сыром ветру... Земля наша, родина! Мы — толпа, сколь площадей наискось пройдено... сколь тропинок по горам кудрявым проложено... сколь пальцев, ушей, рук-ног обморожено...

Мы — толпа? А разве мы — толпа? Толпа глуха. Толпа слепа. Толпа то нема, то златоуста: от Мясопуста до Сыропуста. Человек в толпе — не херувим, нет. Он отрок во пещи Вавилонской, угрюмой. Серафимам шестокрыльным да херувимам многоочитым он дал обет: воеводою огнепальным гоняет тяжкую думу. Силы безплотныя! Си-

лы небесныя! Толпа катит?! Нет! Народ идет, глотку рвет дедовой песнею! Злославие пущай иссякнет, а пенье ангельско зазвенит в выси: лети, лети, глас народа, песня, милостыньку не проси! Ты сама, наша песня, ково хочешь одаришь собою. Ты летишь во облацех, поверх хороводов девьих, превыше волчьего воя, ты раскинула крыла могучие между тучами, а и кто ты, песня, а ну признайся, скажи?.. птица ли Рух, птица ль Гаруда?.. снег завалил все просторы, сверкает лютой остудой... лети, сердцем грейся, волей упейся, да не дрожи... Мы все головы задрали. Ты летишь, а будьто лежишь в синем небес одеяле. Тя тученьки целовали. Тя звездоньки обымали. Над народом — птица! Такая лишь приснится! Зенит протыкает золотая, крылатая спица... Течет облаков колесница... А коль подстрелят, падать зачнешь с высоты — Бог на рученьки тя подхватит, не сможешь убиться, в кровь разбиться...

Вот тако же и человек бытует. На мечах рубится, на брачном ложе воркует. А потом — последний полет. Часы-то — наперечет! А и што там, внизу, под тобой, улетающим, толпа тебе речет... што бормочет народ... што глаголет твой Царь... скажет верным сокольничим: подстрели тово Феникса пьянокрылово да на обед мне изжарь... И летишь ты, крыльями машешь, инда в небесах пляшешь, селезень, кречет, голубь, канюк, лебедь белый... глотка твоя, видать, отхрипела, отпела...

Но последний крик! Он есть. Вырвется из пронзенной стрелою груди. Посекут землю кровавы дожди. Красный снег завихрится. Сканью земляной заискрится. Ах, люди, люди, — мы ж у потоков времен — только в небе летящие птицы... то журавли, то синицы...

Крик последний! Народ замолк, бедный! Гремит небесная, на полмира, обедня! Вытолкни крик, душа, да падай на землю; а иной я судьбины не хочу, не приемлю.

(только вперед)

Самое трудное на свете — идти. Иди. Самое страшное на свете — идти в темноте. Ничего не видно. Руки сцеплены на груди. Руки сжаты на позабытой версте. Слева грохочет и справа. Последний бой. Это бьются с державой держава. Останься самою собой. Останься последней девчонкой с печальным ликом Богоматери Донской. Спасенным тощим котенком. Собакой, чей волчий вой. Идешь. Ты ходячее дерево. Шагаешь корнями ног. А людям кажется: девочка. Иные видят: щенок. Иным блазнится: ворона. И встали сугробы в ряд. И розвальни с небосклона в посмертье катят, катят. А там, во санях, черным-черна, в алмазной вьюге, кривя плачущий рот, широко тебя крестит матерь Война: иди, иди только вперед, вперед.

(протопоп и Никон)

...Толпа напирала, а он сначала сопротивлялся ей, а потом катился вместе с ней, толпа вспыхивала тысячью зрячих огней, толпа бешенствовала, усмирялась, взрывалась опять, другой такой толпы в целом мире не сыскать; он чуял течение в ней, внутри, крови, биение крови — спины, локти, руки, ноги и щеки горели жадно, ему становилося жарко, вот далеко, над затылками, шапками и лбами, он увидал на помосте человека в ризе; ево ударило вдоль всево тела синей молнией: Никон! — а потом ищо раз ударило: нет! обознался! — и потом в третий раз обожгло: кто это?! — и самому себе он показался не самим собой.

Я не тот, не тот, кто я есмь. Федот, да не тот. Рот выборматывал невероятные словеса — он таковых знать не знал. Все ближе толпа подносила ево к помосту, слишком сильно сходному с Лобным местом. Ах, тут вот ведь и казни запросто творятся; он попытался зажать себе рот ладонью, да не вышло — не мог выпростать согнутую в локте руку и поднести к лицу; она была прижата к животу, к потрепанной рясе плотным, чудовищным многолюдьем. Толпа, ты ведь великанский булыжник. Ты припечатываешь,

давишь. Тебе важно, штобы сок брызнул. Плод тем и хорош, што сочен; убийство человека человеком уж тем оправдано, што убитый отдаст улетающему Міру последний крик.

Вопль последний.

В нем — вся музыка Міра подлунново; именно во крике, в отчаянии.

А — праздник? Разве толпа не может родить праздник?

И угоститься им, от пуза, от сердца, от души?

Вот уже слишком близко он подступил к помосту. Рассмотреть можно было шершавые грязные доски, побитые дождями. Человек, другой Никон, а в ризе все такой же, какова и у Никона была, праздничной, снежно-сверкающей, — алмазные искры, цветной, радужный снег, глазам больно, а сердцу ищо больнее, — повел головою, скосил зрачки, и глаза ево словно бы на миг ослепли, а потом опять прозрели: то таково иной, новый Никон узрел ево, иново протопопа.

Он глядел на Никона снизу вверх. Будьто в небо. Человек, когда на человека снизу ввысь взирает, смотрит в самом деле не на человека, а на небо; и человек, на ково глядят, становится для зрящево небом, и тот, кто сверху наблюдает, зрит под собою крутящуюся землю.

Земля и небо. Небо и земля. Надо было немедленно сделати што-нибудь, и он — крикнул.

Крик!

Птичий крик!

Человечий крик! Зверий рык!

А — Ангелы кричат?! А нежные Херувимы?! А... славнейшие без сравнения Серафимы...

— Никон! Не глаголай неправду! Ты же не враг себе!

Толпа катилась, не останавливалась. Все ближе, теснее и безвозвратнее притискивала ево к помосту. Приговор, казнь, зрелище. Только почему не он, а Никон, Никон-то чужой стоит на помосте?! Никона будут казнить, а не ево?!

Толпа крутилась, ея водовороты и спирали вспучивались, голоса гудели и сшибались, и там, за помостом, за спиною другово Никона, он увидал странную, невозможную вещь: громадный железный ящик, а на нем, в виде кургузово сундука, железная пушка, и ствол торчит гусиной шеей; а снизу той громадины шевелятся железные гусеницы, они с лязгом и диким скрежетом наматываются на колеса, и огромный железный короб неуклонно и грозно движется, наплывает, разрезает надвое толпу, люди с криками разбегаются, толпа разваливается в стороны, раскалывается, как раскололось и застыло Чермное море пред войском Моисеевым; он таращился, не верил глазам своим, подумал смятенно: я раб безумия моево... — а за великанским коробом на медленно, дико-хищно вращающихся гусеницах катилися ищо такие же короба, переваливались с боку на бок, яко жирные железные утки, яко раскормленные стальные хрюшки, и шли, и шли, гудели, надвигались, обещая смерть, навевая Адовы сны, не уклониться, не укрыться, не вжаться в землю палым листом, не исчезнуть; только взмыть в небеса птицей... да полно, птица ли он? Стая ли птиц небесных сия крутящаяся непомерной бурей толпа?

Птицы небесные не сеют, не жнут, но сыты бывают, воспомнил он родные крылатые слова, он за ними никогда не чуял боли и скорби, они чудились ему полными радости, настоящим праздником Господним, Двунадесятым, одним из любимых; когда наступал Покров и на всей родной земле выпадал первый, нежный, тревожный октябрьский снег, он почему-то повторял те словеса про себя, а то и вышептывал, и они тут же улетали, крылатые Ангелы, и следа не оставляли; и он дивился легкому дыханию Священного Писания, не понимал, как буквицы могут становиться биением сердца, а ево сбивчивые удары — летящими птицами; люди не птицы, твердил он себе, люди

есть люди, их племя накрепко привязано к земле, — а куда же мы уйдем, канем после смерти?.. в каковую невозвратную пелену?.. в каковые облачные, грозовые дебри?.. а железные сундуки все катились, грохот разрывал уши и ту тончайшую смешную оболочку, коя одна и защищала смятенную душу; та оболочка, што она была?.. молитва?.. песня?.. клятва?.. признание в любви?.. я люблю тебя, человече, я люблю Тебя, Боже?.. не разобрать... вдохов-выдохов не различить...

Это на нево, на всех них надвигалось Время, и с ним не справиться было, ево надо было иль принимать, иль отвергать, закрывая глаза и отворачиваясь в молчании и презреньи; человек, обладающий властью, собрал вкруг себя мастеров-кузнецов и приказал им выделать, выковать в диавольских кузнях те страшные короба; подневольные люди, послушные слуги, старательно и мрачно, ни словца не промолвив, исполнили все, што повелел владыка; и нет, не было объясненья, зачем, для чево идут по земле, давя все живое, железные аггелы, виверны, единороги и аспиды.

Человек и власть. Власть и человек. Неужто во будущих временах ждет все то же? Плыви, плыви, пловец, задыхайся, человече, в намокшем тулупе посреди быстрой холодной реки; сейчас пойдешь ко дну, и никакая молитва тебя не спасет; а што, кто спасет? Тот, кто имеет власть?

Тот, кто плывет в лодье. Он протянет тебе весло. И по веслу, омоченному ледяною водой, ты вскарабкаешься, мокрый жук, на борт, уцепишься за качливое, ненадежное древо, что колыхается посреди потока; вот видишь, чюдо есть, а ты не верил в него.

Смеялся над ним.

Над собою — смеялся!

...Толпа крепко прижала ево к помосту, он стал задыхаться, иной Никон глядел на нево по-прежнему сверху вниз, но он, он потерял глазами Никоновы глаза, он в ужасе уставился на железные короба, што шли и шли и шли из-за кровавого окоема; впору было читать Псалтырь, древляя музыка уже проснулась в нем, обняла ево, и толпа обняла, они обе, музыка и толпа, стискивали ево в смертных объятьях; и тут он на миг вспомнил Настасью, женку ево, а потом сразу же — болярыню, несбывшуюся ево небесную жену, супругу ево в Духе Святом; и такою волной веселого сумасшествия захлестнул ево ея образ, ея радостный, светлый лик! «Все мыслят таково, што вера во Господа — то печаль, повиновение, скорбь безконечная, како на похоронах, како при могиле; а то ж веселие, праздник вечный! Да и Страшный суд, отче, то праздник! Цветные костры на полнеба! Павлиньи сполохи на пол-Міра! Костер горит, пепел по ветру летит, а птица Феникс восстает, восстает! Буквицы, протопоп, ты ж мне сам руку с гусиным пером верно ставил на бумагу, штобы я с молитвою верны буквицы нарисовывала! О, отченька возлюбленный! Я так хочу быть свободна от земной жизни! Ты помолися ко Господу, штобы мне век фиял вина сапфирно-синево, небесново пить! Штобы век праздновати, на весь небосвод, свободу мою!»

Блаженная, она блаженная ево болярыня; и то главное. Как он мог забыть о самом главном? О том, что в Міре живет и выживает лишь юродивый Христа ради? А не сам ли он таковый был... Ежели бы вериги кто на нево тяжеленные накрутил, грудь, спину да живот чугунными цепями обмотал — он бы смиренно их носил; и там, на снежку слепящем, сгорбившись, то и дело лоб крестя, молча сидел, и жупел серный, горящий в голой руке, кривя страдальный лик, держал — а потом внезаапу рот открывал и голос возвышал; да, да, он сызмальства мечтал именно так: полуголым, в отрепьях, на снегу, и лицо закинуто к людям, и каждый людской лик — Солнце; а все Солнца катятся мимо; кто понаглей, тот и плюет в нево; кто посердобольней, тот в ладонь ему монету, пирожок али горбушку сует. А во Престольный Праздник — глядишь, и пряник печатный. На, пожуй! И жевал бы, и улыбался беззубо, и красной на морозе рукой благословлял мимохожий люд. Взять на себя непосильную ношу! И быть свобод-

ным! Ото всех; но не от Бога. Вся служба твоя юродская — Богу; все приношения твои и вознесения, все падения в придорожную грязь и все заоблачные упования — Богу. Он один управляет всем мощным хором бытия. Он... один...

А ты кто такой? Кто ты, кто ты, кто...

Чужой, незнамый Никон шагнул вперед. Железные бочонки на гусеницах, с длинными гусиными стальными шеями, надвинулись, заслонили солнце, снег и свет. Отец! Мать! Жизнь твоя! Зачем-то, за какою-то надобой ты был рожден. Штобы железные черные гусеницы — тебя раздавили?!

...Он закинул голову выше, ищо выше — и в небесах увидал себя робенком.

Робенок шел по облакам, бежал, останавливался, улыбался, сжимал кулачки, разжимал, бежал опять.

А толпа изменилась; всякий человек в ней, он мог хорошо рассмотреть, был одет не так, как они все пообвыкли, не в обычный тулуп али зипун, не в поневу и кику, а в непонятные тряпицы, таковых он никогда и не видывал: и, однако, все кричали, шептали, гомонили и лопотали знакомо, не звучала речь чужеземца в толпе; колыхался народ, ровно сине море, аки волна на Волге али на Енисее в ветреный суровый, лютый день; и кричал, и плакал, и ревел, и воздыхал по-родному, и, может, иноземцу то было против шерсти, ежели таковой в толпе и затесался; ах, юродивый Вакушка! И юродка женка твоя Настасья! И юродка истинная супруга твоя в Духе, Феодосья Прокопьевна! Нет конца-краю, нет предела юродству; благословенно оно; то тишайше, то громоподобно, и какое юродство лучше и чище, никто не скажет; принимай стезю; иди выше, выше, в гору; гляди горе; там — Солнце.

Он хорошо понимал, что во мгновение ока очутился в том времени, коего никто никогда не видел и в нем ищо не живал; а вот он тут, он зрит железные ящики, стальные короба, странные одежды, слышит родимую речь, а в ней там и сям вспыхивают, резкими рубинами и жгучими аметистами в ночной медной скани, никогда не слышанные им реченья; он хочет Бога спросить: Боже, а доколе я здесь буду пребывати?.. навек я тут али на час?.. пошто мне то наказанье?.. али в чем я провинился пред Тобою, мало и плохо молился, лениво паству наставлял?.. да не предал я Тя, яко дрянь Иуда, ни словом ни делом, а поди ж ты, показал Ты мне Міръ измененный, Міръ другой, и дик он глазу моему, и тягостен он дыханью моему и слуху моему; а люди, люди-то, Господи, ведь те же, все те же...

И не успел он додумать эту думу, как из стальных гусиных шей вылетел огонь, и загремел гром, и небо дымом заволокло.

Он ищо успел увидати, как в густом дыму падают на грязный, притоптанный площадной снег люди, люди; как льется кровь, крови оказалось нежданно много и щедро, она лилась отовсюду, будьто взрезали вострыми ножами бурдюки с вином али выбили ногами днища из безчисленных бочек; красное лилось, алое булькало и мерцало, озера вспыхивали кармином, люди лицами падали в кровь, размазывали ея по щекам, орали тяжко и протяжно. Увидал он и то, как чужедальний, непонятный Никон, и лицом-то вроде Никон, а повадками — нет, не он, пошатнулся на пытальном помосте, хотел ухватиться хоть за што-нибудь ослабелыми руками, а вокруг зияла пустота, вспыхивали непонятные выкрики, снег гляделся грязною солью, и льющаяся кровь пахла солью и рыбой, и он подумал судорожно, смутно, почти напоследок: все в мире солено, все горчит и тлеет, а Троица Единосущная, ведь ея среди нас, грешных, нет, она над нами, эх, был бы я Иоанн Златоустый, я б сей же час рот открыл усатый-брадатый, да и запел, заблажил на весь свет, да все што хочешь завопил бы, хоть Великую Ектенью, хоть из Постной Триоди, хоть из Цветной, а ведь это же война, я же наблюдаю войну, да в Міре ином, да во времени чужом, вот сподобился, вот к чему при-

вело мое юродство да верность, Господи, Единственному Тебе! Семя веры моея Ты умножил! И вот окунул мя в новую Смуту!

Откуда ни возьмись на запруженную народом площадь выбежали скоморохи. Пушки, водруженные на железных коробах, выжидали минуту-другую и опять палили. Люди падали, окровавленные. Крики заслоняли небо, втыкались в низко летящие, набрякшие снегом тучи. Скоморохи каталися колесом, непотребно вставали на руки, галчино галдели, размазывали по щекам свекольный сок. Всех убивали, а они прыгали невредимы, как заговоренные. Он сощурился: корявые, бешеные скоморошьи руки медленно, с натугой, выкатывали на площадь огромную, величиною чуть не с купецкую расшиву, черную бочку; старый кудлатый, сребрянобородый скоморох пнул ея красным кровавым сафьянным сапогом; бочка разломилась, доски лепестками черной адовой нимфеи разошлися в стороны, и, будьто на льду, на белом пруду площади, в окружении вопящей, умирающей зимней толпы из бочки на снег вывалилась немыслимой величины раковина. Перловица? Али заморская? Он глядел пристально: таковые вылавливали в далеких морях и привозили на Русь ганзейские купцы, торговали их на Макарьевской бешеной, многогласо кричащей ярманке. Ближе шагнул. С помоста, где стоял чужеродный Никон, валились наземь расстрелянные люди. Крики усиливались, копьями вонзались в низкий серый ковер неба. В этакой перловице могли запросто человеки поместиться, како в кошевке!

И поместились.

Он увидал их. Внутри великанской Раковины. Двух девушек. Нагих. Розовых на морозе телами. Они прикрывались от чужих взоров ладонями и локтями, сутулили спины, но никто, умирая, на красоту их и не взирал, кроме нево, изумленново, да отчаянно хохочущих на ветру скоморохов. Скоморохи хлопали в ладоши, согреваясь, и глядя на них, от их смеха и хлопков согревался и он. Толпа гибла под выстрелами. Огонь, крики и кровь, и больше ничево не пребывало в мире. Ни в прошлом, ни в будущем. Две голые девушки, юные совсем, жались друг к дружке на пронизывающем до костей ветру, сырость била их в щеки и ребра, жесткой серебряной мочалкой во снежной бане безжалостно терла им тонкие, тощие спины. Он шагнул ближе. Чюдо: он ищо не был застрелен. Все, што он видал на земле, чему был свидетелем, все умирало. Прекращало быть. С этим надобно было али смириться, али противу этово восстать; но как восстанеши против Бога, ведь Он положил предел жизни. А предел любви?

Почему человек ненавидит человека?

Почему люди убивают друг друга?

Он задал себе эти два простых вопроса, и тут же явился пред ним третий, Бог Троицу любит, да самый важный, самый пронзительный и кровавый: где же, где прошел Великий Раскол? Между любовью и ненавистью. Между болью и радостью. Между надеждой и обреченностью. Между Міромъ и Міромъ! Да, человек жесток! Да, он зол и гадок! Но не настолько, штобы разрубить свой Міръ, в коем он родился, возрос, созрел и достиг чувства Бога, пополам!

Надвое!

Он видел: девушки в Раковине тепло, нежно, отчаянно обнимают друг друга, ищут друг у друга защиты, прижимаются друг к другу, а между их телами, о нет, между душами их, теплыми, солнечными, боящимися, дрожащими, стрекозиными ли, синичьими, ищо живыми, мерцает, перекатывается и переливается, играет всеми огнями радуги, снеговыми, ледяными, сиреневыми вспышками — Жемчужина.

Ищо шаг. Ближе. Вот бы рядышком рассмотрети. Он таковых великанских перлов не видывал за целую жизнь; ни на Волге, ни на Оке привольной, ни на золотой Суре, где живет Стерляжий Царь, ни на речушке Сундовике, близ села Григорова, где явил-

ся он на свет Божий; ни на брегах холодных рек сибирских; ни на Севере хвойном и вечно молчащем, а зачем ему язык, есть только ели, сосны и пихты, и снега, и торосы, и Белое, цвета вареной трески, ледяное море. Перл сиял, размером со спелую кедровую шишку, а может, с голову младенца; да то не жемчуг, подумал он испуганно и отвел глаза вбок, то, может статься, живой зверек, в белый клубок свернулся да спит, колечком скручен, в шар оборотился, а белая шерсть сверкает радужно, вот я и обознался.

(детство, время и Байкал: ино ищо побредем)

Всякий из нас, живущих, робенок. Детству конца нет и краю, и я дитя тож, дитя малое, неразумное... матушку вот вижу яко чрез туман, батюшку. Да разве это так важно, мне их сей же час увидать... их нет давно на свете. А я все робенок, хоть возрослым себя чту; хоть мудрым змием, волком матерым у людей числюся. Много, несчетно людей, толпа безкрайняя тысящей глаз на телеса мои глядела, зраками буравящими в душу мою заглядывала, а робенка, дитятю тамо не узрела. То, што дитя я-то, грешный, видит только Бог; и, значится, Он мой истинный родитель, Он мой отец, и я Ево сын... ересь говорю, тако еле слышно сам себе шепчу. А возвернулси бы я в детство мое, отмотал бы жизнь назад? Да нет, разве ж позволено человеку время вспять бабкиным клубком размотать... мы все идем по лезвию времени, мы живем вне времени, мы понимаем, не умишком жалким, нет, а чем-то иным, неизреченным, што нет времени, мы застываем на краю времени, мы беседуем с болью времени, мы лечим, обвязываем снеговою ветошью страдания времени... подносим времени ко рту нашу ягодную наливку, сладчайшее вино: отпробуй, времячко, глотни нашево вина... жалок кроваво-во вина в бутыли, в чаше ищущий, а кровушка наша, кровушка моя, кровь дикая, неприрученная помнит все, она течет временем, время это кровь... кровь это безвременье, то время, што давно опочило во широких, во глубоких небесах, и спит тамо уж целую вечность. Изыди, сатано, восклицал я в молитвах моих, в мірах чужедальних, и повисал тот жалкий возглас мой между временем и безвременьем... во времени кто ево услышит? А в безконечности он и так в Божьем зерцале, синем небе, отразится весь, сполна, крик мой, вопль твой, человечек. А во весь рост восставший человек есть время. Наизусть помню Откровение Иоанна Богослова: и небеса совьются в свиток, и времени не будет. Вот пишу, говорю, кричу, шепчу. А кому нужны будут сии письмена за горами времен, за долами годов и веков, за тьмою тем боли? Призрак времени проходит мимо нас, грешных, и уходит в такой неподобный мрак, што не пронзить никаким человечьим взором. Ни дух наш, ни зренье наше, ни воля наша, ни смерть наша те грядущие времена рыболовною сетью не измерит, не зачерпнет. Неважнецкие мы рыбари; не ловим мы золотую, сребряную рыбу времени; и я тож такой неумеха, и не ведаю, каким смертным путем прохожу во времени и по какому ево краю, по какому острию ево, по лезвию какого ножа ево, ево топора огромадново голыми стопами медленно, како в тягостном сновидении, двигаюсь я. Ищо шаг, ищо маленький шажочек... ступни мои изранены в кровь, кровь течет, это мои стигматы, это мой ход. Я во времени иду и ноги все изранил, будьто босый по льду Байкала шествую, ветром култуком до пепла сожжен. Женка моя за мною ковыляет, еле поспевает, спешит-спотыкается, чуть не кувыркается. Да вопит, вопит на весь мир сибирский, кедровый-подлунный: погоди-погоди, эй, протопоп!.. оборачиваюсь к ней, да изроняю слово из брадатых-мохнатых уст моих: што, Марковна?.. пошто останавливаешь мя?.. зачем останавливаешь время мое?.. Она мне в спину, укрытую толстым овечьим тулупом, снежки криков своих, воплей своих бабьих бросает, швыряет: долго ли?!.. долго ли!.. долго ли, протопоп, ту страшную муку принимать нам с детьми нашими малыми?! извелась я вся, измучилася!.. сей же час на лед животом лягу, замру, да так и за-

мерзну! А вы все идите, бредите, ступайте!.. ваше время ищо не настало, час ваш ищо не пробил! А меня, грешную, на льду озера тово клятово оставьте умирать! Киньте-бросьте мя туточки!.. Долго ли протопоп, мучение сие принимать?! И тогда остановился я, и престал идти по озерному толстому льду; слышал душою и видел воспаленными очами, как подо льдом, в смертельной глубине, в холодной воде ходили медленно, шевелились, тягуче перебирали зимними плавниками могучие страшные рыбы, и подошел я к Марковне, а она уж на льду валялась, рыдания сотрясали ея исхудалое тело, подняла она лице свое ко мне, и увидал я, што щеки ея ввалились земляными яминами под череп, ох, оголодала бедняжка, последний кусок дитяткам отдавала, истомилася, измучилась в край, и протянул я женке моей руку и помог ей встать со льда синево, лазоревово, порошею мелкой присыпанново, исчерканново полозьями и подбитыми железом сапогами воинскими... шаталась моя Марковна, обнял я ея за плечи и прижал к себе, крепко прижал, будьто вжати ея внутрь себя восхотел, и прижалась она ко мне не како к человеку, к мужу ея живому, а како все живое, обреченное на смерть, прижимается ко мгновенной жизни и убегающему прочь времени, и прошептал я на ухо жене моей, крепко, железно обняв ея на страшном морозе: до самыя смерти мука та нам, женка моя, и воздохнула она, как опосля плача бурново, безумново, захлебново, таково прерывисто, яко дитя малое, жалкое, на морозе дрожащее, и вымолвила, лице свое близко, яко горячий медный потир с Причастием Святым, поднеся к моему лицу: ну што ж, протопоп, ино ищо побредем.

(кровь и Время)

Муки Христовы повторить для тебя... мучения повторить, страдания Бога твоево повторить, кровь, што лилась из прободенных рук Ево и ступней Ево... кровь, время, время, кровь, с ума схожу, но вижу, как небо все, сплошь, широкими мазками, не богомазами, не яичною темперой!.. кровью расписано, будьто ветер, што бьет в лицо, то не ветер, а потоки крови, и швыряет Бог ту кровь на небеса, под облака, под тучи, замазывает красным крыши, заливает землю, озера и тайгу, и вместо воды в реках холодных — горячая, дымящаяся на морозе кровь течет... воистину с ума спятил я! Все движется к своему концу, а может, ко всеобщему сумасшествию, а может, к всеобщему искуплению; чем искупим все мои грехи? своей кровью, новой кровью?.. сколько же крови должно ищо пролиться, штобы мы от грехов старых и вчерашних насквозь очистились, стали перед Богом яко наг, яко благ, яко несть ничево... благие, ах! пророками стать хотите?! не получится! пророк, за счастье видеть время — своей жаркой кровью плати! Пророк Езекииль воздымал ко звездным ярким, ослепительным полночным небесам страсть свою и желание свое, и извлекал из мохнатых страшных уст своих то, што смертному услышать нельзя было. А кто за ним то пророчество записал? Неужто писец за ним украдливо ходил по пятам, и восковую дощечку, пергамент ли, папирус ли таскал да в железные словеса отливал те безумные вопли, те страшные хриплые крики? Да разве можно сумасшествие записать, людие? ево можно только испытати, ево можно лишь пережить, переплыть, и кровь по капле отдать, али себя мечом рассечь, али дать на войне шкуру свою прострелить, и рану ту, навылет пулей прошитую, уже никакой Бог не вылечит. Ты должен кровь свою Міру во славу пролить, пусть она в землю наяву, како во сне, впитается, поутру выпадет красной росой... Пусть из нея, из кровушки твоея, из той земли, окровавленной, красной, деревья и травы новаго Эдема поднимутся, новый Райский Сад восшумит под ветром, под солнцем палящим, под небом зовущим... А ты? ты, кто отдал Міру жаркую кровушку твою, отдал новому Райскому Саду, Богу, што улыбается нежданной, сужденной смерти твоей, ты, жалкий Аввакум?.. на Страшном суде воскреснешь! не считай себя, червь, пророком! ни-

какой ты не пророк! мысленно играеши ты на арфе, бред безумной глоткою хрипишь, ударяешь пальцами по струнам, щиплешь жилы золотые, медные и железные, конские и воловьи, повторяешь ты царя Давыда, зерцалом души своея ево отражаеши... Ну каков же ты жалкий огарок, Аввакуме! Царь Давыд — певец Великий, пророк Звездный, а ты просто можешь спеть-прохрипеть твою песню пред тем, как вся кровь из тебя истечет, до капли, и в твою родную землю вольется, в таежную почву, иглами елей и кедров сплошь покрытую, обнимет кровушка твоя корни грибов и ягод, ляжет под ноги волку, ляжет под когти медведя, и осторожно прольется под нежные лапы лисы с рыжим солнечным хвостом... зверье твое, белорыбица твоя в реках плещется, реки кипят от рыбного изобилия, да не учюдить уж тебе, жалкий Аввакуме, чюдесный лов рыбы, не повторишь ты Господа твоево, лишь заплачеши кровавыми слезами, кровью возрыдаеши над тем, чево не будет никогда. Да, никогда! не желай, человек, штолибо повторить нечеловеческое; не Божий ты бич, о нет, ты лишь человек, сухой лист на ветру, и человечье лишь повторяй, повторяй... счастье ведь в том, што ты повторяешь святое, што ты повторяешь себя сам, потому утреннее правило и вечерние молитвы с тобою каждодневно одни и те же, да голос твой розный, то ясный, то хриплый; хрипло выпеваешь ты древлие мотивы, выходит всякий раз по-иному, да опять повторяй ход твой по земле, повторяй бой часов; так повторяет кукушка в тайге свой тоскливый одинокий крик. Кукушка, кукушка, сколь годов бедному Вакушке ищо жить?.. накукуй мне тысящу лет! хочу жити, како древний пророк... они все, пророки, бессмертны. Но ведь и они когда-то, час пробил, преставились. Всяк ушел с лика земли, окромя Господа. Смерти не отвергнеши, от смерти не отвертишься, костер горит, все вижу огонь, жмурюсь, а никуда от огня уже не спрятаться.

(Псалтырь и Федосья-пророчица)

Все на свете Псалтырью звучит и Псалтырью становится; всякое, нас старшее, незримо летает над нами, а мы мыслию древность ловим, и мысленно мы врагу не зла, а добра желаем. Так царь Давыд днесь игрывал на арфочке своей злобному царю Саулу, и музыка чюдная птицею летала-кружилася округ патлатой башки страшново Саула, умиротворяла ево и утешала. Так и любому человеку живущему помогает милая музыка. Умиротворяет ево, да, утешает. В болезнях да испытаниях ему помогает. Музыка есть великая поддержка духу и душе живой. Словесами я музыку мою записываю, а Псалтырь моя звенит и звучит то грозою над полями, то цветочною радугой. Моя Триодь то постная, то цветная! древность просвечивает сквозь дегтярную толщу годов и столетий, а будущность мерцает сквозь наши нынешние слезы. Где Время?.. и опять время; опять оно надо мною крыла простирает. Што есть мое прошедшее, што есть мое настоящее? што будет мое будущее? Прошлого нет; нынешнее уныло, тяжко, а будущее кто прочитает? ево только обнять безраздельно, широко и больно, только заплакать мы можем по нем. Только возрождать голос свой, бесконечный, длинный крик; да так вопить, штобы Архангелы за тучами услышали, штобы Херувимы и Серафимы задрожали и крыла во всю ширь распахнули, нас от гнева Господня защищая. Вижу, вижу, все будет ужасом полно, ужасом и неизбежным отчаяньем. Будут глад, мор и землетрясения по местам. Глад!.. то понятно; разве не переживали мы, людие, невозможный глад в неурожайный год? Ну, мор, с ним все ясно, нападет болезнь лютая, подомнет под себя, истопчет, руки вывернет, за спину заломит, и на дыбе Вселенского жара тово сгоришь ты, и кострища тебе не надобно. А чем мы все больны, любимичи мои? Да мы же все больны безлюбьем! мы все больны неверием! а превыше всево мы все больны ложью, враньем великим. Страждем несносимо! Ложь губит нас; ложь наши мысли чистые, светлые, святые извращает, ломает, дегтем замазывает, како распутную девку, штобы все, кто ни попадя, плевали в нея, а то белит и румя-

нит, штобы выдать замуж, штоб ея, перестарка, в семью подобрали, ложь, она такова, и неважно, кто лжет беззастенчиво, кто боярин, а кто смерд, кто Царь, а кто холоп, всех ложь в один вонючий стог сгребет, всем несчастным, оболганным клеймо на лоб, плечо и руку влепит. Откровение Иоанна Богослова! Все до капельки там записано, до словечушка! Вот оно какое: не печать, што кожу человеческую насквозь прожигает, и волдырь вздувается, а печатка лжи, от коей душа чернеет, дух огнем возгорается, тает на Адовом, черном огне том и говорит, стеная: неужто пепел вместо нас, вместо любви живой всю землю покрывает? Неужели грянет последняя в жизни война? Мы, все люди, сию последнюю в жизни войну то и дело опасно, дико призываем. А зачем мы зовем ея?.. ведь после нея, может статься, и людей на земельке никовошеньки не останется. Болярыня моя Феодосия Прокопьевна так мне говаривала: последняя борьба, то не борьба последняя, борьба не победа, да нет там, знай, навечново торжества, и нет там, вдали, навечново прощения. И нет там победы, нету праздника там, ни человеческово, ни Божиево, а есть только слезы великия, только слезы есть, льются и льются, да не человек их будет рождать, не человек их будет, бык мирской, ослепший, точить, а сам Господь Бог над нами, мертвецами невольными, восплачет; а я болярыню и спрашиваю: как это ты, Федосья Прокопьевна, узрела те события в дали веков, в толще времен? Ужели ты, смертная баба, можеши читать время по слогам? Она тихо, молча усмехается да так на мя смотрит, глазищами насквозь мя прожигает, до костей, до дна души, до облаков тово баснословново времени, што встает, огромное, безликое, за моею спиной, а потом губы ея дрогнули, и тихо, тише воды, ниже травы она промолвила: я вижу, батюшко, вижу и ничево с тем поделати не могу, рада бы не видеть, не раз у Господа просила, штобы забрал Он от меня тот тяжкий, да, тот чугунный тайнозренья крест. Зачем я зрю все сущее, и даже то, чево нетути ищо на земле? и не смогу избавитися от зренья сево до самые смерти моея. И так я Господа, батюшко, прошу: забери от мя мою жизнь, не могу я жить, видя все насквозь... зрю сквозь моря, океаны, линзы озер, сквозь кровеносные токи, сквозь частокол сосен в тайге, инда скелеты, кровью обмазанные; зрю все, што было, есть и будет, сквозь грозы и ливни, сквозь причитания свадебные, восхваления хороводные... возьми навеки от меня дар сей, ибо дар Твой казнию мне стал лютою! Вот тако же, протопоп, и я молюсь, и ты, протопоп, помолись за меня днями, ночами, поутру и ввечеру; отврати лице твое от жены твоей, тихо встань с ложа твоево в ночной рубахе, подойди к образам, ко твоему киоту, преклони колена и поднеси двуперстие ко лбу твоему. Таково крепко натопил ты печь на ночь, штобы вам с протопопицей не замерзнути, штобы тепло у вас в избе густыми сладкими сливками разливалося, и я велела все печи с изразцами растопить в доме моем! Жар полыхает от изразцов, рассматриваю я узоры на тех изразцах, вот жар-птицы золотые, вот белорыбицы со загадочными письменами на перламутровой чешуе, на других изразцах орлы синие, цвета грозы, на третьих волки серые и лисы рыжие бегут, а куда они бегут?.. на широкую площадь! А на широкой площади стоит мужик в колпаке с бубенцами, и высоко над головою бубен поднимает, и в бубен больно, жарко, часто бьет! Глядишь, так кулаком могутным и сам бубен ненароком убьет! А ты? Может, ты и есть живой бубен? И в тебя надобно все бить, бить? Художник ли ты, грешник ли, пророк ли, юродивый — все одно забьют тя камнями, батогами, сапогами. Зачем на изразце малом, величиною со створку перловицы, ты скомороха намалевал? На соблазн или на радость?

(солнечный луч)

Девочка, ты чья? Ох, да не моя! Охти мне, из небылья вынырнула рыбкою-уклейкой, выкатилась медною копейкой... Девочка, ты чья? Имени твоево не знаю я! Назови себя богато, назови себя нище... ветер в ушах моих воет и свищет... Девочка,

ты чья? Луч солнечный летит быстрей копья! Златой нимб округ Нерукотворнаго Спаса, ясные очи превыше смертново часа... За руку мя взяла да за собою повела! И увела, и увела... и лишь шептала: сгоришь, сгоришь дотла... А я в ответ: сгорю, лишь рядом будь... А она мне: пустимся в путь... А я ей: на краю бытия... Дитя мое!.. девочка, ты чья?..

(Аввакум и Никон, разговор)

Да вот он ночью ко мне и вошел, в рясе простой, яко бедный чернец, монах. Я указал: садись за стол, будем вечерять; он сел. Я сначала накормил ево, пироги женка пекла, вино ягодное в бутыли темнело, капуста квашеная мятым желтым кружевом в миске разлеглася, разрезали ногу свиную копченую, я вопросил ево: и што же ты, Никон, Никитка ты жалкий, ко мне пожаловал? приласкать мя хочешь али поспорить со мною? Поспорить, ответил он тихо, усы и бороду от еды утерев, поспорить-повздорить, ну, ты ведаешь, об чем речь вести стану. Все об том, о главном. Как вот ты крестишься, разнесчастный Вакушка? пятью перстами, четырьмя, аки диавол-насмешник, тремя али двумя? Како наши отцы, деды и прадеды крестились, како праотцы наши молились, тако и я, грешный, крещуся, ответил я и медленно, глядя прямо во зрачки Никону, перекрестился. Посмотрел Никон на мя искоса, так бык мирской на корову исподлобья, мрачно да тяжко глядит; на миг помстилося мне, што Никон есть настоящий бык, и на скотный двор я ево должон отвести, обмотав ему мощную выю веревкой. Што же ты балакаешь, горемычный ты человечек, воспомни всю толщу времен! Вот тебе двуперстие святое. И вот налагаю на мя двуперстием Крест святый. Ведь так крестилися, именно тако, не иначе, а ты вот не ответствуешь мне; ты чуешь, как твоя кровь в тебе течет? Он воззрился на мя, глаза, инда сова, округлил: не чую. А зачем это чуять? А затем, ответствую, штобы ты Время из черепа отца твоево испил; тебе лишь мстится-блазнится, што ты из телес да костей скрипучих состоишь. А ты весь пропитан кровью, как хлеб вином Причастия, и разрубить тя топором али мечом надвое — вся твоя кровушка быстро вон вытечет, и Господь будет на это глядеть с небес, и душа твоя, из тела излетев, будет взирати на разрубленную плоть твою и плакать в небесех, и печалиться. Стой, Аввакум! А зачем ты мне это говоришь? А затем, друже, так отвечаю ему, што во крови нашей то Крещение течет, во крови нашей та древляя, вечная молитва наша струится. А мы? Пошто мы скрещаем копья, сжимаем в кулаках мечи и секиры, штобы убить, опять убить друг друга... да за што? за што, Никитка?! за ересь?! Какова же тут ересь, ежели мы праотцев наших наследуем?! А што такое ересь, Вакушка, хитро так вопросил мя. И опять из-подо лба глазами ворочает, выкатил буркалы, пытается зрачками-крючьями мя подцепить, да не за ребра, не за шею, не за щеку — за душу дрожащую, трепещущую яко на ветру. Никон! Никон! Ежели бы ты чуял время тако же, как текущую кровь в себе, ты бы не делал тово, што сделал! Пошто ты Руси Раскол сотворил?! По кой надвое нас всех разрубил, а мы с тобою, Никитка, ведь были соседи, шабры, ты помнишь, мы с зимней горки на салазках катались! А в снегу голубом, синем, инда алмазном, кувыркалися, то лупили друг дружку, то обнимались! И пошто ты нашу детскую дружбу похерил! Пошто ты детство наше на костре пожег! Сжег ты, Никитка, в пепел всю радость нашу! Да, кровь льется по всея Руси, то ты сотворил, Никон несчастный! Плачь! Кровь и душу, вот ты што потерял! А ты не Патриарх, нет, ты дитенок неразумный, заблудился ты, Никон, овца ты заблудшая, душонка погибшая, ко Христу Богу припади, ко Ево ступням кровавым, на колени опустися да воскричи так: прости мя, прости, Господи Боже мой, за все, што содействовал я грешново! Покрещуся, како крестился отец мой, дед мой, прадед мой и все предки мои! так и я крещусь и по-иному не буду, хоть ты заломай мя, яко белую березу, хоть

ты сожги мя в печи иль на широкой площади, мне все равно! мне... все... равно... Помолчал тут Никон, закрыл очи свои бешаные, вижу, губы ево шевелятся, и слышу шепот ево, мерный, страшный: а што, друже Аввакуме, разве ты никогда не думал о смерти, и каково она придет, насильственная али покойная, когда все года свои сужденные проживешь, изживешь время свое, изопьешь чашу свою до дна, и тогда уже на груди сложишь руки и попросишь ближних своих: похороните мя вон в том лесочке, али в том овражке, али на той высокой зеленокудрявой горушке над широкой рекой... сам себе укрывище земляное выберешь. А может, ты в битве погибнеши, внутри кровавой сечи, а о том и не помышлял никогда! Да Русь нашу ищо будут сотрясать войны! без войны человек на земле не может. Как мир не призывать?.. ты-то небось на проповедях твоих во храме, посля службы, о мире людям балакаешь! А сам-то, Аввакуме, ужели никово в жизни не убил?.. не поверю!

И тут задумался я. Задумался, очи закрыл и воспомнил, как я убивал зверье мое, птичье мое робенком, по просьбе отца петуху главу отрубил. Людей бил! Да кулачным, страшным боем. Жену мою, бедняжечку безропотную, однажды в кровь избил, за ссору ея с бабенкой, коя у нас в избе обреталася и по хозяйству помогала-хлопотала; а позже на коленах прощения у нея просил и сам пред нею, очумелой, во слезах дрожащей, на лавке разлегся и бить себя розгой соленой заставлял.

Никон! Никон! Все мы убиваем, да не только кровушку льем, а частенько друг друга словом убиваем! Псалом царя Давыда оживит тебя и мертвово. А стих глумливый да насмешливый, злобный, полный яда, грязью тя обмазывает и во самое сердце ранит; и сердце твое, Никон, кровью изойдет. Злословие тож убийство, и битва ево настоящая. Не разевай никогда рот твой, штобы вымолвить зло; тяжелое слово, пригнетет оно ко земле, да не тово, на ково направишь копье ево, а тебя самово; угнетет тя, воскорбишь, тако, скорбя, люди людей земле предают, и будеши душою твоею, яко лягушка распростертая, во грязи ползать, и тогда ты Богу взмолишьси: помилуй мя, Господи, по велицей милости Твоей! Прости мне мои прегрешения вольные и невольные! Зло другому, Никон, причинить зело просто и быстро, и не узришь, не поймешь, не узнаешь, што ты ево стрелою выпустил в другово человека, и стрела-то летит, и вот, вот-вот, сей час вопьется, да не в тело жертвы, а в душу страдальную; такое зло человеку живому бойся причинить. Сколь стрел уже и ты, Никон, и Царь Алексей Михайлыч пустили в мя! безсчетно, Никон. А я все терплю, терплю, да все помышляю о мучениках святых. Они-то, они-то сколь терпели, а только радовалися, в огне палящем, во смоле кипящей. Вот величайшее счастье, радоваться своим страданиям, радоваться обидам, што тебе причиняют люди, радоваться горю и ужасу, што в тебя зловеще направлены; радоваться Лобному месту твоему, дровам, из коих костер твой уже складывают. Радуйся, смертный человек! ведь мукой твоей ты повторяешь страдания Господа твоево Христа! Никон тут так и дернулся, окинул взором мя, грешново, да вдруг как закричит мне в лице: а вот ты, протопоп, и правда мыслишь, што век вечный будут люди верить во Христа Бога?! А может, наступят на земле такие времена, когда и Бога самово с небес низвергнут, и Бога самово потопчут, изрежут ножами, изобьют новыми жгучими плетями, сожгут в пепел, и пепел тот развеют по ветру, по всем временам! не допускаеши ты разве таково?! У меня даже волосы дыбом встали, яко языки огня. Жар охватил мя лютый; не знал я, што на ересь таковую Никону отвечать, а все-таки разинул мой грешный, непотребный рот и вытолкнул слова единственные, только их и можно было произнесть сию минуту. Никон! Никон! Даже ежели люди низвергнут Бога своево и уничтожат Ево, поелику все на свете возможно убить, они одново не поймут: Бог всегда воскресает. Всегда. Побледнел Никон мой, уцепился рукою костлявою, в жилах набухших, за край столешницы, штобы не упасть: правду глаго-

лешь, Аввакум, чистую правду! Бог возрождается всегда. Каждый Божий день. А наипаче во Пасху Господню. А все же есть, есть загвоздка одна. Воскресение! да только вдумайся ты, глупец! разве оно будет? ево не будет так же, как и второво Распятия не будет! сказано в Писании: только Второе Пришествие! Замолк. На меня глядит. Ну чистый бык. Ну вот, выдохнул я, ты сам ответил, несчастный, на твой вопрос, сам твою ересь зачеркнул кровью твоей. Придет диавол, мститель великий, во все времена жаждущий уничтожить Бога, а Он здесь. Отвалите, людие, камень придорожный, а Он там. Выйдите на берег реки широкой, холодной, а Он рекою пред вами, грешными, воды Свои расстилает. Небеса, облака, гроза, молния — все есть Бог. Трава под ногами, и я топчу ея — Бог. Ладонь раскрываю, потную ладонь трудовую мою, а там малая капля пота трудововo; али то я ладонью слезу отер, што текла у мя по щеке, и влага та — Бог. Зерцало небесное лик мой отражает. Я в зерцало небес гляжу и вижу там Бога. А может, себя. То ересь наилютейшая — себя мнить Богом! Но ведь Бог в каждом человеке, Никон, Никон, и в тебе сей же час, и во мне, а не видим мы Ево, не слышим, затоптали мы Ево в себе, молиться не умеем, торопливо бормочем и утреннее, и вечернее правило, потому я спросил тебя, слышишь ли ты ток крови в себе, ток крови, то суть письмена Бога, то голос Бога. Слушай, как сердце твое бьется, как сбивается ево стук, замирает, умирает, а потом возрождается внезапно; Бог есть жизнь; жизнь в тебе, жизнь в твоих детях, в детях детей твоих твоя кровь, и веровать они будут так же, как веровал ты и предки твои. Да разве же можно набело переписать Господа? Никогда ты не сделаешь тово, потому как все письмена Бога твоево красною волной подымаются изнутри тебя, омывают тебя и всю Вселенную, в коей ты, грешный, живешь.

И дышишь. Дышишь.

И молишься, пока тебе ищо дано молиться.

(кровь опять, она же Время есть)

Кровь течет, кровь дышит; крови биение; кровь, прощай. Сколь человек придумал разнообразных казней для самово себя. Виселица, кнут, удушение, кострище, костер громадный до неба, и люди сгорают там, вопят, голос свой к небу устремляют, будьто бы небо может их услыхать и спасти. Много казней, штобы отнять жизнь у живого существа. А самое верное, это когда тебя разрубают мечом, копьем пронзают, пулю жгучую вонзают во хрупкое, нежное тело твое, и льется кровь, да, льется кровь, и это, люди, льется время. Кровь выливается из человека, яко из сосуда; сосуд был полон, и вот он будет пуст, а куда же выльется красное кровавое вино, што играло, бродило в нем? куда растечется кровь? ково она оросит, ково напитает? кто захмелеет и возрадуется, отпивая из чаши скорбей ея? Ужели земля? Да, земля, ибо пролитая кровь в землю уходит, корни деревьев питает, камни и травы. А ежели кровь твоя льется в текучую реку, растворяется алая твоя кровь в сребряной, бегущей мимо воде; ежели проливается на льдины, на снег, снег дымится, ведь кровь твоя горяча, она пока ищо горяча, пока она ищо огонь, кровь это огонь, коий торжествует в тебе; кровь, это глубко в тебе, внутри тебя горящий костер, значит, время всегда горит, вовеки на костре сгорает, значит, время гибнет всегда. Она, кровь, помирает каждую минуту, и каждый миг красный огнь бушует. Пламя вздымается до небес, то кровь твоя горит в тебе, то время твое в тебе пылает, и ты не знаешь, што тебе содеяти с тем кострищем, то ли потушить ево, то ли дровишек в нево подбросить. А как же ты ево потушишь?.. како сам-то себя не смог погасить, ни во младенчестве, ни в старости, тако не сможешь ты алую кровь твою пламенную сам выпустить на волю. Хотя знал я, знал, грешный протопоп, как жилы себе вскрывали девки от разнесчастной любви; как топором, острым лезвием рубил себя крестьянин Михей, друг отца моево, когда все в доме у нево от

тяжкой хвори умерли, и скотина вся от болести полегла, и вот один он на белом свете остался, бедный Михей, и стал помышлять, како же у себя самово жизнюшку отняти, ну, пошел в сараюшку, топор ухватил, сам над собою вознес и сам себя тем топором порубил. Отец долгонько соседа не видал. А когда прибежал к нему на подворье, забежал в сарай да узрел, тело лежит, все в кровище, да, вот так себя дед Михей топором-то ударил, и вытекла чрез перерубленную жилу наружу вся ево жизнь, весь огонь ево вышел вовне. Где теперь огонь нашей крови горит? Сколь в битвах людей полегло, сколь огней погасло... все мертвецы, што на полях сражений лежат, все лица, глаза все мертвые, заледенелые, што птицы хищные клюют, жадно, несыто выклевывают, это уже тела без огня, огонь вышел, вышел вон, да не вернется больше в это тело никогда. Народятся другие люди. Когда в битвах погибает народ твой, полководцы машут рукой, стирают слезы непрошеные с лица да бормочут: ничево, бабы ищо нарожают. Остались, остались ищо у нас мужики, штобы со врагом биться и за Царя помирати. И засевают новые полководцы новое поле телами да слезами; залито тучное поле кровью, кровь сочится под землю, достигает сердца земли; говорят, на крови трава гуще растет, ягода слаще. Я часто закрываю глаза, я слушаю, как бежит кровь во мне, не дай, Господи, ей когда-то потечи водопадом. Не позволь, Боже мой, штобы разрубили мя надвое в битве жестокой, штобы главу мне на Лобном месте отсекли, штобы секирой порубили, копьем пронзили. Видал я, часто видал, како кровушка живо, споро из человека вытекает. А может, кровь-то и есть душа. Задумайтесь, людие, где наша душа обитает? сердце замирает, сердце колотится, сердце в пропасть падает, сердце мы чуем всегда. А вот кровь, о ней ничево не вем, она не слышна, и душа тоже не слышна, ни звука, ни шепота... душа и есть твоя кровь. Иногда ночью открою глаза, лик мой на подушке к Настасье, жене моей, оберну, вижу спокойное, нежное лицо ея, уж все укрытое рыболовною сетью морщиночек, слышу, как она тихо дышит, изнутри излетает теплый воздух, то дышит грудь живая, то дышит душа, согретая всею живою кровью, тогда касаюсь я плеча ея нежными перстами, и тихо, ласково, безслышно шепчу: спи, почивай, Настасьюшка, ищо придет срок, и нам надобно будет с тобой помирати. А кто ково на тот свет проводит, мы не знаем. Али ты меня, али я тебя. Да лучше бы помереть нам с тобой в один день, как Петру и Февронии.

(сердцу больно)

Иду навстречу тебе. О, вместе, вместе, как Петр и Февронья. Соль, пот на губе. О злоба, не тронь мя. Не тронь мя, ненависть, не бичуй мя, месть. Во благодати чую счастье. Ты моя Благая весть, льешься лилейным елеем, раны врачуя. Иду. Битый камень колет ступню. Кровь мой путь пятнает. Молюсь тебе сто раз на дню. Ты настоящий, знаю! Ты живой. Я твоя дщерь. Ты ясноглазый, брадатый мой пророк. Ты моя дверь туда, где плачет Распятый. Где стонет Он на кровавом Кресте. Где ветер бьет колокольно. Где так сияет Он в высоте небес — не глазам: сердцу больно.

(Аввакум и Царь)

Я против Царя, Царь против меня, так было суждено. Так было заповедано, и молчим, а вроде бы слышим голоса друг друга. Што такое вера? — вопрошает мя. Вера суть кровь, отвечаю. Што значит вера суть кровь, вопрошает. То значит, вера твоя течет в тебе, омывает тебя изнутри, пропитывает собою душу твою, мысль твою и сердце твое. А вот ты, по ком ты плачешь, в ком ты зришь будущее, спрашивает Царь. Отвечаю: я не пророк, я не провидец, вижу, што ты предо мною стоишь, Царь, и не просто ты, человек, стоишь предо мной, человеком; предо мною, верой, стоишь ты, власть. Власть, усмехнулся таково криво, а што такое, вопрошает мя, по-твоему, власть? От-

вечаю: власть дает тебе право распоряжаться чужою жизнию; а ведь жизнью может только Господь распорядиться. А тот, у ково на земле власть, мыслит так: человек этот мой! Эти люди мои, я ими владею, я их присвоил, они все под моим крылом, под сенью моей десницы, под моим знаменем идут, у моево шатра ночуют, и што хочу я, Царь, власть имеющий, то с ними и сделаю. Правильно мыслишь, Царь, говорю я ему, провижу я будущее, хоть я и не пророк: Цари сохранятся, и власть сохранится. И никуда мы, люди, от нея не утечем, не скроемся. Вот ты давно на троне сидишь, а охота ли тебе на нем восседать? Хочется ли тебе в одной руке скипетр сжимати, а в другой руке державу? Вот, держи, тяжелые то игрушки, и скипетр, и держава, круглая, как Луна али Солнце, слухи ходят, и земля наша тоже круглая, и земля, бают, округ Солнца вертится, а не Солнце вокруг земли. Лепят детишки по зиме снежную бабу, скатывают сырой волглый снег в огромные комья да друг на дружку те комья водружают, у них своя держава, снежная, и своя игра, сибирская, взятие снежного городка. Чаешь ково-нито повоевать? хочешь ты чужую кровушку пролить? Веру чужую из другого народа изъять? Што такое кровь пускать, не мне тебе объяснять. Все ты прекрасно знаешь. Пытошных дел твоих мастера, палачи твои, сколь людской крови в застенках на каменные полы щедро пролили! Молчишь? Нечево сказать тебе, Царь!

И разлепил Царь губы вдругорядь: так вот бормочешь ты, ты слуга мой, Аввакум, а што балакаешь, и сам не ведаешь, а ты ведай лишь одно: власть сила, власть могущество, у ково власть, у того и казна. А у ково казна, полная сокровищ, злата, монет, каменьев самоцветных, тот и владыкой над Міромъ может стать. Над Міромъ, вопрошаю Царя, а ты што, мечтаешь стать владыкой над Міромъ? А ты как мыслишь, пророк Аввакум, напророчить, што не будут Цари стремиться к міровому Царству, а всякий на своей землишке станет обретаться? Ну, насмешил мя, скоморох ты, а не поп, шут гороховый! А я-то мнил, вымолвил ты мне золотое пророчье слово! И вздохнул я тяжко и глубко, и так сказал я Царю: да, Царь, запиши мя в юродивые, во блаженные, блаженство, вот высшая участь земная и небесная, но блажен тот, кто свободен от всякой власти, свободен от Царя, от наибольшево иерея, от воеводы, от устава, от приказа, свободен в шаге и в полете, и летит вверх, наверх, на высоту сияющую, и любит Міръ всецело, и крылья невидимы тово блаженново, и ширятся крыла небесные тово юродивово, и ходит он навроде бы по земле, а на самом деле летит он над землей, летит птицей, юродивый суть птица, суть орел, Царь, знаешь, я орлом себя часто чую, как будьто распахнул я крыла и парю над землей моей, да над чужими землями, таковыми прекрасными, ты, Царь, таких не видал никогда, а я, я, орел поднебесный, видал... во снах ли моих, наяву ли, все в писаниях моих кровушкой начертал... А знаешь, Царь, я ведь ночьми пишу мою Псалтырь огненную, Псалтырь пламенную, Колесо Міра катится по небу, по земле, по Раю, по Аду, и все и вся подминает под тяжкий, чугунный обод свой, и режет, и давит, и визжит, и скользит, и опять катит, все вдаль и вдаль, прошлово не жаль, и по Псалтыри моей едет, и Псалтырь мою переезжает и надвое разрезает, и льется кровь со рваных листов, и псалмы мои сами орут, сами блажат, сами собою поют, уже без меня! Царь Давыд, он сам по себе, а протопоп Аввакум, он сам по себе! Но в ночи, когда власы мои от ужаса и счастья подъяты, и борода моя в неверном свете сиротьей свечи лучится Солнцем, полночным Солнцем, тогда я Царь, я и сам себе Царь, я и снегу великому за окном Царь! избенка моя... да наплевать мне на нея! я Царь всея земли и небес всех, и только пред Богом моим Господом я раб! Ево я слуга! Царь, люди, они рабы твои, а я раб Божий! Я вздохну глубоко и песню мою выдохну. Слушай ея, Царь, читай, гадай, што я в песне моей напророчил! А ведь напророчил... и люди в тех писаниях разберутся; мое дело маленькое, сидеть в ночи безсонно, до первых петухов, да перо в чернильницу окунати.

Песня моя хмельная романея, песня моя лехкия прузи, пыщут прозрачные папарты, летят над цветами, над лугами, песня моя широкое небо, а мы с тобою, Царь, оба немы, а песня одна, она все нам говорит, огнем бешаным горит.

Пристально Царь глядит на мя, спокойно я гляжу на Царя, вопрошает он: расскажи, што ты видишь во грядущем: вот говоришь ты, што не пророк, но ведь каждый человек пророк хоть однажды, хоть однажды он заглянет в то время, кое только ищо придет. Закрой глаза, протопоп, да молви мне слово, што там, в тумане, зришь, я тихо буду сидеть, смиренно тебе внимать. А ты лишь говори, говори, не останавливайся, слово текущая река, слово текучая кровь, слово и счастье, и боль, ежели ты изрекаешь слово, ты уже им становишься... говори, што видишь! А я буду слушать; хочешь, запомню, хочешь, сразу же забуду. Он закрыл глаза, и я закрыл глаза; пред глазами моими явились иные картины, не те, што я всякий день воочию наблюдал: великанские каменные пирамиды, множество окон во тех каменных теремах, во огромных, до неба, дворцах, стоят высоченные, яко башня Вавилонская... вижу: да все это воистину башни Вавилонские, и люди их выстроили нарошно, штобы в гордыне опять до неба добраться, а внутри тех башен, Царь, они и живут... вижу, в окнах лица мелькают, вижу, люди бегут в каменных ущельях между башнями страшными, до туч достигающими, люди куда-то торопятся, одежды на них иные, не таковские, каковые мы с тобой, Царь, носим: не кафтаны на мужиках, не поневы на бабах, ах, навлекли на себя смешные, странные тряпицы, бабенки все в коротких юбчонках, ноги все на виду-стыду, а мужики все в кургузых кафтанчиках, инда с чужого плеча. А кто идет с ухмылкою на роже, кто хитро губешки кривит... все с виду распутники, грешники, все греховодники, што ли, в сем будущем стали... отворачиваюсь, штобы не видеть таково позорища, Царь... вижу ищо знаешь што? дворцы, битком набитые снедью и одежкой, за блестящей прозрачной слюдой, за твердыми бычьими пузырями в ларях и в сундуках разложены дивные заморские фрукты-ягоды, мясо и рыба, икра и зелень, сотовый мед и горы сахара, што это, шепчу, а это, говорят, рынок, таковский нынче у нас рынок... Царь Давыд, ах, Царь ли Алексий Михайлов сын, и у нас тоже есть рынок! Да на ветру тот рынок, под небом, дождями, снегами да Солнцем! А здесь в каменных стенах, за хрусткой блесткой слюдой и не дотянешься до пищи, а только пальцем можешь указать да испросить: дайте мне, дайте! А што дайте-то, и сам не знаешь! будьто бы я, невидимый, подхожу к ларю, протягиваю руку и указую перстом на огромного, с колючками по бокам, осетра... или нет!.. што бы лучче выбрать... вот большое красное яблоко, яблоко, оно же и было съедено прародительницей Евою в Райском Саду! Да не боюсь я Змея! Да нет тут никакого Змея, а стоит в белом одеянии торговец, ну, тамошний, значит, купи, да, купи, возглашает мне на чистом русском наречии, вот сколь рублей стоит то яблоко приобресть, а нету у меня тамошних денег, нету и нашенских, гол я как сокол, зачем я сюда пришел, голода не чую, к чему мне красное яблоко, говорю я торговцу, да будет с тобою счастье, милый человек, наторгуй ты севодни хоть сколько-насколько, хоть целый сундук денег домой привези, весь запродай, продавец, твой товар! Дай мне только ложечку меда! Он у тебя в горшке, мед липовый, вон стоит, белый, золотистый... ох, чую, сладкий! Дай мне отпробовать! Смилостивился торжник, зачерпнул мне сребряной лжицей мед, и ел я из той рыночной ложки будущий мед, ел, обливался незнамым медом, тек мед мне на подбородок, на шею, и плакал я, и обливался слезами, и соленые слезы мои в тот сладчайший мед стекали. Это я так грядущее свое, Царь, на зуб пробовал, а грядущее-то, оно все такое же, все такая наша жизнь, все такие же яблоки, все тот же мед, все тот же торговец над яствами, дрожащ, яко царь Кощей, склоняется, ворожит да руками разводит, да к себе зазывает, штобы ево товар купили, вижу площадь, толкутся люди, како мошкара, я, Царь мой, как здеся люблю людей, так

и тамо, во грядущем времени, их люблю, я вижу: грешен человек, но я-то сам разве не грешен, и ты грешен, Царь, а ты бы мог жити в такой вот сумрачной Вавилонской башне, а я бы не мог, мне надо поближе к земле, мне надо землю нюхать, ноздрями чуять, ладони на нея класть, тепло ея вбирать, они все, грядущие, камнем окружены, камнем да блесткой слюдой, и нет тово счастья у них, што нам доступно. Береги, Царь, волю твою, волю и ветер; ты над ними не властен.

ДЕВОЧКА У КОСТРА
ФРЕСКА ТРЕТЬЯ

(Аввакум и Смерть. Предчувствие)

Я бы хотел умереть не как святой, но я хотел бы узнати, когда ко мне будет приближаться моя смерть. Я не отважен, мя объемлет страх. Я боюсь, Господи Боже, помоги мне, ибо я вижу и знаю, пришел мой конец, так бы я желал сказати пред уходом моим царственным али нищенским да ничтожным. Каково оно, сие царство, там, на смиренном кладбище, в вечной теремной горнице усопших праотцев? Тебя увозят во гробе сосновом: последний твой путь по земле. Кто чует приближение часа своево, егда жалостливо просит: отступися, смерть, али покорно: встречаю тя, смертушка моя; она привычна нам, откупиться бы, да не отсыплем мы ей во костлявую горсть никаких грошей, ни меди, ни злата, штобы выпустила она нас из ея когтей. Совершаем обряды, поем исправно, людие, и служим панихиды да литии над опочившими, над мертвецами. При всем честном народе возрыдаем о них. Бабы воют; ахти, плакальщицы, плач ваш велик есть, смерть, быть может, то свадьба, то одр брачный, тайнозримый брачный чертог и всю жизнюшку жданная Брачная Вечеря; ты обнимаешься с Богом самим; а телеса, што ж, они спят в земле да спят. Плывут в песчаное да глинистое подземье во дощатых лодьях. Час приидет — восстанут на Страшном суде. Верую... Во што я верую? в Ад и Рай? Да, я верую во Господа моево, в Ад и Рай. Я хотел бы, штобы от Ада земново до Рая небесново провел мя Тот, Кто безсмертен воистину; объяснить Он лишь все мог нам без истления мысли Своей, во древлих книгах киноварными знаками записанной; а нынче што? Теперь все святые дома Господа нашево Исуса, все храмы Господни осквернены. И война! Война! Никонияне нам вопят: вы еретики! еретики! ересь! ересь! Мы им в ответ кричим: еретики-то вы, еретики и нечестивцы! погубители земли Русской и веры русской! Ересь ваша, ересь!

И вот война началась. И вот война идет.

Огнем, дымом, пламенами неистовыми бежит война, катится по родной земле.

Богородице Дево Марие, пусть война! я покорен. Я опускаю главу пред неведомыми временами, а вижу, все вижу огонь. Я хочу огонь мой, красново волка, приручить. Я хочу приручить, яко диково зверя, мою смерть. Я о бессмертии людям хрипло глаголю во храме. Недаром же я протопоп; я под защитой у всех моих святых, у всех святых моево рода, ибо люди рода моего святые. Молитися святым мертвецам, вот подлинное поминание! Сколь погостов разрушено, сколь гробниц разграблено! Мертвые лежат, окутанные молчанием. Внутри ограды возводят новые кресты, кладут гранитные плиты, усыпальницы Царей не похожи на могилки бедняков; а иду по лесу, сбираю грибы в корзинку и вижу: крест-голубец высится в одиночестве, никто к нему не подойдет, никто колена не преклонит, нет; никто пред ним не помолится. Как быть живому, живущему? Какие захоронения, какие погребения ждут павших в бою? Их белые святые кости так и истлевают во поле под недреманым оком вечного бездонного неба. Вокруг любой храмины кладбище имеется; там каждый лежит во своем гробе, яко

в своем доме; недаром гроб наш зовется домовина. А как быти тем, кто погребен во братской могиле? Жизнь и смерть, тако тесно, неразъемно связаны они. И вот, не ровен час, чую, она явится ко мне в гости. Я должен говорить с ней; какая она на вид? Череп голый, костяная клеть, накинутая на плечи костлявые дырявая холстина? А может статься, она девица красная, закрыла ввечеру оченьки свои, а ночью тихо ко Господу отошла, и не поняла, што умерла во сне. Како быти во посмертии, што тамо делати? Вижу огонь. Вижу мою смерть. Слышу, бьет мой час. До последнево вздоха жизни моей сохраню память о жизни. Память оборвется, и свечою нагорелой сгаснет бытие. Каждого ждет конец. Каждый помнит: будет Второе Пришествие, и Страшный суд в конце времен, когда все народы, все люди, вся земля, все до единово прочтут Книгу жизни, разберут по слогам Всемірную Псалтырь, где сияют и рыдают всемірные песни; там начертано киноварью-кровию все, што мы пели, о чем плакали, ково любили, с кем сражались, сие суть Псалтырь войны и любви, смерти и возрождения. Одиночество есть искусство умирать. Я знаю. Читал то между строк Псалтыри великово певца, бессмертново царя Давыда, богоравново песнопевца; в иные сферы, Царю Давыде, ты свободно, лехко возносился, да о смерти, яко все мы, в тишине помышлял. Я видел однажды образа чюдные: далеко в Сибири стоит старая церковка на бреге Байкала, сработана топором без единово гвоздя; вошел я туда и увидал на иконе Иуду Маккавея, и намалевано было на златом горнем свете неведомым богомазом: ТО ИУДА МАККАВЕЙ МОЛИТСА ЗА УСОПШИХЪ; а другая икона изображала Око Недреманое, Вселенское Око, острый Глаз Божий, коий зрит насквозь весь Міръ, Вселенную всю, радостную и страшную; а на третией иконе, близ самово олтаря, близ Царских Врат, на северной стене, я увидал Страшный суд: внизу иконы Христос спускался во Ад и шествовал по Аду в нарядном хитоне, половина хитона красная, половина хитона синяя, а обочь Ево грешники коленопреклоненные тянули к Нему руки, а выше, над главою Ево, сидел Он сам, молодой вьюныш, отрок прекрасный, а рядом с Ним, ошую, юная Мария, а одесную Ево пророк Илия, и спокойно и печально взирали они на праведников и грешников.

Все умирают, безсмертных нет. Страх пред Адом сильнее страха пред самою смертью. А страх пред болезнью, пред страшной заразой? вот идет черная чума, вот идет Великий мор, и люди, вдыхая отравленный воздух, уже приговорены. Мы заклинанием хворь: уйди обратно! Иди туда, откуда пришла! Мы хотим праздника! Мы смерти не хотим, потому и похороны мы обставляем яко праздник: мы празднуем уход человека, мы угощаем всех, на поминки притекших, вкусной едой, мы пьем хмельное питье, мы даже обнимаем и, яко во Пасху Господню, при погребении целуем друг друга, утешая. А слезы все льются и льются. Есть ли вера в вечную жизнь, когда рядом смерть? Пред тобой длится в веках только смерть, а жизнь не продолжается никогда. Да, но я, грешный Аввакум, боле жизни люблю жизнь. Я люблю ея так же, как люблю смерть. Не раз я глядел в безумный и безглазый лик смерти моей, простирал к ней руки и рек: здравствуй, возлюбленная моя, вот я к тебе пришел! Прими мя таково, каков я есть! Нет греха на тебе, ежели ты так сильно любишь Бога, ведь смерть это не враг жизни, и может статься, то не враг Бога, может быть, то другой лик Бога, тако же, како Луна во ночных небесех висит сребряным льдяным яблоком, и смотрим мы в сияющий светлый лик ея, што там, за ея затылком: новое воплощение Духа Божиево, собрание неизреченных ужасов, общее благословение, всякому отрада? Оборотная сторона, все так же, како и при Христе, мы не видим ея, и она не видит нас; яко Луна в ночи, приходит смерть. И жизнь все та же; человек уходит в землю, а та жизнь, коею жил он рядом со ево близкими, роднею ево быстренько забывается; семья ево старится, и пред нею уж разверзается вечная пропасть; а не желает человек старо-

сти покоряться; старухи бабенки щеки себе свекольным соком мажут, губы морковью красят али пылью битого кирпича, все стремятся вдругорядь девицами глянуть; трудно духу смириться со словом, а со временем сдружитися ищо труднее; тяжко сказати самому себе: когда-нибудь тебя не станет. Люди, умирая, просят: положите мне с собою во гроб любимую безделушку; ожерелье, што мать дарила, крестик нательный бабкин, охотничий нож отца моево, наливку, кою дед мой готовил, в погребице запрятана она, в погребице, выньте ея оттудова, налейте в бутыль да мне во гроб и засуньте. Да помолитесь, помолитесь за мя как следует! Да на поминках моих вы кутью с изюмом, блины с грибами, кашу гречневую, щи кислые ешьте, за обе щеки уписывайте, да молитесь, молитесь Господу и друг друга боле не проклинайте. Пред лицем смерти все равны; все пред смертию народ Божий. Вот храм; сей дом Бога для тово выстроен, штобы мы, внидя туда, почуяли себя в гостях у смерти, тут она хозяйка, во храме, и мы, живые иереи, глас возвышаем над хором живых и наполняем радостью восклицание наше, литургисая: СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМЪ СВЕТЪ! Разве, смерть, ты свет? ты всегда была тьмой, во все века ты была тьмой, и никаким сокровищем от твоея тьмы нельзя было откупиться, а люди все шли и шли паломниками во святые места, вымолить у Бога ищо кусочек жизни, отодвинути тьму молитвой бедной, насущной, инда ржаново горбушка. Кто и завещание загодя писал, а я бы хотел, штобы могила моя была безымянна, и завещания никаково не зачну строчити; то, што я пишу, есть моя жизнь, то, што я пою, есть мое бытие, а там, куда я скоро уйду, нет ни гласа возвышенново, ни гусиново пера, ни чернила густово, ни слезынек среди ночи: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Думал я: ах, смертушка моя! Долго думал я о святых. Почему простой человек вдруг становился святым? Да потому, што он есть возлюбленный смерти. Он обручился с ней, он шел с ней бок о бок, все они, и столпники, и преподобные, и святые мученики, и страстотерпцы, и равноапостольные, все они жили словно бы в семействе многолюдном, огромном, но уже не здесь, а за гробом; и вот нынче за гробом существует сия огромадная семья, семья святых, их тысяща тысящ, их тьмы тем, и я стал священником не только потому, што отец мой Петр батюшкой пребыл в сельском храме, а и потому, што хоть служкой маленьким, рабом неприметным к тому семейству бессчетному святых, в земле Русской и в иных землях просиявших, чаял прилепиться. Вот пою я псалом, будьто бы из теста жаворонка пасхального леплю; женка моя Настасья из замеса тово детишкам разные забавки лепит, и жаворонков, и ежиков, и белочек, и рыбок. А я взираю мальчишкой малым на то семейство святое, што за необъятным всемирным столом, усыпанным звездной мукой, восседает, и меж собою они радостно перекликиваются, и меня, иерея, псалом поющево, мальца, под столешницею, навроде кота, сидящево, никто не видит.

Смерть, она сей час войдет, готов ли я встретить ея, готов ли я сказать себе: я во сей миг умру, уйду навсегда, навеки, и гусьим пером моим поставлю во книжище точку: то конец. В моем конце мое начало. Капает на бумагу не чернило, кровь. Я пою о смерти, не знаю ея. Имею ли я на песню ту право? Смерть, она мое утешение, и она мое устрашение; она моя молитва, и она мой вызов небесам, мое с ними единоборство. Я вступаю со смертию в борьбу лишь для тово, штобы прижати ея к моея груди, крепко обнять и сказать ей: смерть, я твой! На лице моем грядущая смерть вырезает новые морщины, то мои святые письмена. Она изрекает мне: я приближаюсь, я тут, я уже рядом; но я все медлю. Я перейду черту, когда огонь ко мне вплоть подползет, когда цвета крови станет мое чернило. Я не узрю, как сверкает грань бытия. Когда-то матушка и батюшка породили мя на свет Божий, и каждую малую минуту я медленно, медленно, по капле отдавал кровь жизни своей Міру, в коем жил. Я медленно переставал жить, я и сей же час престану, когда совершится окончательное превращение, обращение мое в чистый Дух, посвящение мое небесное, рукоположение мое звездное. Ча-

сто чую: плыву в лодке. Хочу спеть смерть, да глотка моя слаба. А лодка моя крепка. Это не тот дощеник, што посреди сибирской реки жалко утонул; крепок я телом, крепок духом, закрываю глаза и пробую представить себе пустоту; я охотник, вот заяц прячется за моей спиной. Я оборачиваюсь, заяц прыгает вбок. Я хочу скинуть со плеча лук со стрелой, а заяц земной стремглав убегает от мя, зато сбоку подходит, неслышно скользя по тропе меж травы, страшный зверь небесный, цветом мрачнее тучи; когда небесный волк прыгнет, тогда я перейду границу, острее лезвия, между Міромъ и Міромъ. Мысль моя остановится, и замрет все сущее без движения. А душа зачнет из тела на волю выходити, и, возможно, она выйдет прямо в память небес, возлетит, радуясь Великой Свободе. Смерть яко любовь. Нельзя объяснить любовь. А любил ли я? Любил ли я мою женушку Настасью? Может быть, я во всю мою жизнь любил единую мою духовную дочерь, мою Федосью Прокопьевну болярыню. Ах, болярыня, болярыня, што ж ты со мной содеяла? ты первая ушла туда, во тьму надмірную; ты первая породнилась со смертию; она тебе крикнула: войди! — и ты вошла. И теперь ты там, по смерти, стала маленькой девочкой и играешь с великой Царицей Смертью, как с робенком. Нет, это матерь Смерть играет с тобою, яко с дитятей, яко с милой, любезной доченькой своей. Желанная ты для смерти игрушка, Феодосия Прокопьевна! Како же нам быть? Я вижу мою смерть, я зрю огонь, но я не знаю, егда сгорю; аль мя на казнь повлекут и к столбу цепями привяжут, дров горою навалят под натруженными ногами моими; аль изба воспылает, свеча упадет на пол, и затлеет кружевной подзор, и огонь обнимет наше с Настасьей супружеское ложе, и закричат благим матом детки, да поздно будет выбегати на волю и спасаться; гореть до конца, до презренново пепла будет моя изба. А может, из мглы времен восстанет сруб, в коем не предавшие веру отцов подожгут себя, штобы в огне ко Господу Богу уйти! Подожгут сруб тот скорбный, лодью погребальну, с четырех сторон, штобы ярче, громче, быстрее сгорел! а вдруг, людие, я сам есмь огонь, и сам на себя смерть мою навлекаю, такое тоже бывает! Тебя родили на свет и уже приговорили к жизни, и родимое пятно твое на спине али груди, это смерть твоя, на тебе неотвратимым знаком проступает! Я частенько думаю, как человек убивает человека. Да можно ведь убить не только копьем али мечом, огнем и пулею, но и словом можно убить; даже песнею убить, с коей воины идут на смерть. Война! Она началась. Она идет. Люди опять убивают людей. Во имя жизни? Во имя смерти? Смерть пытается обнять дитя, похитить девушку, забрать с собою в черный мешок немощново старца. Я вижу голый череп и разумею: то мои кости. Я вижу их из неведомово времени, в коем никогда мне не жить. У мя нет глотки, штобы спеть иному времени песню. У мя нет памяти, штобы ея запомнить и отдать незнамым людям. Я растерзан, сердце мое разорвано, Бог мой во тьме кромешной, скрылся от мя, севодня, именно севодня Он спустился во Ад, а смерть, она поднимется ко мне из Ада. Я должен обнять и смерть, и жизнь. Я слышу, как мне кричат: не умирай, Аввакум! Останься с нами! На земле так прекрасно, здесь светит Солнце. А ты сам закатишься, яко Солнце, и на Міръ опустится мрак. Не умирай, значится, Солнце! То я, я, так выходит, подлинный свет, я есмь и подлинная скорбь. Сие тоже я, я; я улыбаюсь, я смеюсь над собой; я знаю: вот сей час раздастся стук.

(военные колядки)

Я иду по дороге войны. Сбиваю ноги в кровь. Ход, ведь это и есть любовь. Не останавливайся! И я иду. Мальчик держит мя за руку на ночном холоду. Обочь руины. Расстреляно все. Святки. Катится звездное Колесо. Знаешь, мне уже все равно, быть или не быть; но мальчик ведет мя, просит есть и пить, на моем родном, на чужом языке, моя рука в его руке, его малая жизнь дрожит в сожженной жизни моей, он мне песню поет, святочный соловей, так мы колядуем походя, по пути, я не спрашиваю,

далеко ли идти, соловьиные звезды, алмазный придел, люди Міръ расстреляли, никто уйти не успел, а мы идем, под ногами снег, запомни мя, мальчик, прежде всех век, я твоя матерь Жизнь, нам матерь Смерть не нужна, постелем белую скатерть, и кончится война, споем у калитки колядки, нам вынесут красные пироги, идем с тобой без оглядки, рисуют звезды круги, так пахнет кровью ли, дымом, горелой доской бытия, идем, мой мальчик любимый, колядка живая моя.

(Аввакум и матерь Смерть. Свидание)

Ты пришла, ты все-таки пришла. Я не могу тебя понять. Ты последний мой вздох, али одна ты стоишь на самом краешке моей жизни, али ты што начинаешь? Ты убиваешь мя. Да, ты опасна, хоть и улыбка на твоих устах; я крепко пожимаю твою протянутую руку: заходи, моя нежная, потолкуем. Я не вижу тебя и одновременно вижу; теперь наступит война или немного времени спустя, после тово, как ты мя заберешь с собою, все равно; ведь война уже началась. Міра прежнево нет. Времени старово нет. Ты мое время. Повремени, смерть, повремени; это смерть не моя, времени, а не меня на земле. Время повернется, и я уже не вернусь. Смерть разъедает губы солью и бормочет мне: в миг, когда я возьму тебя с собой, тебя уже не будет. Поэтому помни твои последние вдохи и выдохи. Пока ты помнишь — ты дышишь. Пока ты дышишь — ты помнишь. Помни войну людей с людьми! Помни войну со мной! Некто там, вдалеке, за морями-окиянами, в незнаемом времени, слышит, как в последний твой земной миг громко бьется твое безумное сердце. Опасна смерть лишь для живово: горе, боль, ужас. Для живово, живущево она наступает здесь и ныне, и она тихо кидает прощальный шепоток: да, вот ты готов; и вдруг я понимаю, я ищо не готов, я ищо не допел мою последнюю песню... песню... Я ищо не допел мою стихиру, мой ирмос, мой любимый кондак, мой любимый Пасхальный тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Мои волосы седы, моя борода белее льда, и мне уже все равно, како дрыгаются моя рука или нога, целый али отрезанный мой язык како шевелится и рыбою прыгает во рту, и я могу глаголать, словом, яко мечом, бить, али молчанием наказан до самово твоево явления, смерть?! Отрубят мне руку, ногу, четвертуют ли, ежели выживу я, ежели выживет моя мысль и будет биться внутри мя сердце, значит, ищо нет тебя, смерть! Страдать, любить жизнь, испытывать боль, это значит жить! Смерть, ежели ты мое превращение, ответствуй: я престану быть человеком и в тебя, неведомую, обращуся? и она отвечает мне: да! Я твое превращение, твое обращение в веру мою, в то время, где нет веры, в то пространство, где нет жизни, но там, знаешь, открою тебе тайну, там даже смерть дрожит пред великим молчаньем Вселенной. И дрожит мой голос: каково то мгновение? каким я буду ево ощущать, страшным или блаженным? как я ево переживу, переплыву? кто проводит мя до Порога? кто будет держать мя за руку? Настасья, дети? Я же останусь совсем один! Един яко перст! Родненькие мои станут будьто рядом, близко, и, однако, они очутятся далеко-далеко. Меж мною и ими будет лежать целое небо. Они будут глядети на мя, ищо живово, а я уж буду дышати землей. Где я буду пребывати, смерть моя, скажи, в те поры, како ты придешь ко мне; егда придеши? Шепчет она: никто из смертных не ведает о моем приходе, только тебе я скажу об том.

Огонь. Огонь.

Это все, што я могу тебе открыти; ты здесь, и ты уже не здесь, ты прозрачен насквозь, и ты есть величайшая тайна, ты все, и ты уже ништо, с тобою никто не уйдет, тебя никто не встретит. Я кричу смерти: и даже Бог не встретит там мя, грешново?! тамо и тогда, егда я перейду Порог?! Усмехается смерть: нет, там, где царствую я, никакого Бога нету в помине, там есть только везде и нигде, нигде и везде, никогда и всегда, всегда и никогда. Я нахожусь на грани двух миров. Узнаешь их. Кричу ей: смерть! Я хо-

чу узреть Тот Міръ, но будет ли у мя там зрение? Будут ли у мя глаза и уши? Будет ли у мя любовь и ненависть, или же не буду испытывати ничево? Како ощущать ничево? Како мыслити ни о чем? Так, значит, смерть, ты ништо, и все зряшно, о тайне твоея людям века напролет балакать?! Есть тайна, отвечает она, ты не поймешь нынче, лишь когда переступишь Порог: умирать лехко. Тяжело лишь думать обо мне и приближатися ко мне. Ты хочешь жизнь возвернуть, ея дотла проживши? Кричу: не подходи ближе! ни шагу ко мне! я ищо не спел мою песню! Я ищо не возгласил мою последнюю проповедь! Во имя подлинного Христа Бога ты все врешь, смерть! Бог есть! Он есть даже там, где Старец ложится сам во гроб, там, где сожигают селение и крестьян ево в кострище войны! Змеятся губы ея в ухмылке: хочешь от мя убежати? Да, хочу, кричу! Ты можешь попробовать то содеять, отвечает она мне хитро и вкрадчиво, время твое бежит быстро, ты не знаешь ни дня, ни часа твоево конца. Ты только зришь огонь, огонь предостерегает тебя, огонь страшным, вопящим хором прозвучит тебе, а ты знаешь ли о том, человек Аввакум, што твоя смерть слагается из множества людских смертей, што она не только твоя, а я, твоя смерть, пропитываю и пронизываю собою каждую минуту всяково, наималейшево людсково существования? Жизнь, знай это, останавливается, ежели нет конца; ежели есть конец, то есть и начало; жизнь без конца прекращается и безконечно рождается, и для тово, штобы жить, надобно умирать; вы, люди, только и делаете, што умираете, и другово занятия у вас нет; я ваша подлинная Царица, а не Царица Небесная, и мне вы должны молиться, а не Богу вашему.

Я внезапна, и я длюсь, я полна надежды, и я безнадежна, я непрерывна, и я все время исчезаю; я шаткий мост над пропастью, и ты не знаешь, перейдешь ты ея али упадешь вниз и разобьешься весь, но так или иначе в конце пути тебя жду я, я, я.

Я отворачиваюсь, не могу на нея глядети, я шепчу ей: ты пришла прежде времени, ты моя убийца. Да не нужно мне тихой кончины! В глубокой старости не надобно постепенново угасания; я все время вижу округ себя бушующий огонь; приди в накидке огня, приди ко мне в огненной поневе, я встречу тебя с радостью. Я не хочу долго жить на земле, но я не хочу случайно завершить путь и случайно начать ево снова. Я хотел бы приготовиться как должно, и штобы ты стояла у праздничново стола моево, у богато и густо украшенново каменьями трона моево, и штобы я побыл хоть немного на земле Царем судьбы моея, а потом усадил тебя, смерть, на мой трон, встал пред тобой на колена и поцеловал костлявую руку твою и сказал: не боюсь тебя, служу тебе и век буду служить, я не умру от старости, я от огня умру. Обними мя, огнь мой покажи мне!

Смерть протянула ко мне руки, я увидел вместо скелета, костей ея два ярких красных языка огня; они колыхались на сквозняке, дверь в избу была открыта; ты знаешь о том, што ты вступаешь на невозвратный путь, так спросила. Да, знаю, кивнул я, ништо не вернется. Все уничтожено, я прошел все дороги. Я сказал людям о том, кто они есть в мире и кем они станут потом, когда на Страшном суде разверзнутся все могилы, и кости оденутся плотью, и люди выйдут из гробов повапленных, под землею истлелых, на свет Божий, подлунный, и узнают друг друга, и обнимут друг друга, и заплачут; время, будет ли тогда время, опосля Страшново суда? Смерть посмотрела на мя пустыми глазницами. Нет времени, уже нет, оно необратимо, как все на свете. Мы не можем повернути времячко вспять, мы не властны, протопоп, вернуться в прошлое. Часы отмеряют наше земное время, но какие? Небесные часы? отмерь нам время нашей души в посмертии, когда окажемся мы там, где оказаться суждено каждому, но никакой человек ищо не возвернулся оттуда, штобы поведати, што же там такое; есть ли там Міръ, иль нет ево. Смерть тихо вопросила мя: хочешь ты стать вновь молодым? А хочешь ли, когда умрешь, возродиться? А может быть, ты, протопоп, хочешь пере-

стать стареть? Я глубко и тяжко воздохнул. Перестать стариться? Не шути со мною, смерть. Разве такое чюдо возможно? Я и так уже старик. Борода моя бела-метельна. Ежели я вновь стал бы молодым с виду, маета пройденных дорог давала бы о себе знать; прожитые годы придавили бы мя к земле, а слезы о пережитом все лилися бы и лилися из очей моих. Эх, зачем мы живем тако печально? — вопросил я смерть. Она молчала. Она не могла ничево ответить мне. Все необратимо, все невозвратимо, но почему? И ежели нельзя вернуться, значит, нельзя и возродиться, нельзя воскреснуть; и, значит, Господь сочинил для нас детскую сказку о Втором Ево Пришествии и всеобщем людском воскресении для Страшного суда! Вот видишь, Аввакум, спокойно сказала мне смерть, ты, оказывается, все-таки еретик! ты себе противоречишь; часы не остановят бег, время не слышит нас, время утекает, время уходит, и вместе с текущим мимо Міра временем уходим мы, потому што мы и время, это одно и то же; самое страшное, да надо смириться. Смиряется же человек с самим собою, отраженным в зерцале. Я смирился, о смерть! — так горестно воскликнул я; я подчинился судьбе молодым парнем, я думал о старости с ужасом, а сейчас я думаю о ней с радостным спокойствием! Я не мог понять, отчево на свете существуют кровопролитные войны, а теперь я это понимаю и принимаю, знаю: убийцы, бунтовщики, преступники, разбойники, воины конные и пешие, опричники, головорезы, мстители, они запросто обращаются с чужими жизнями, они нападают на людей, убивают их без жалости ножами, бердышами, топорами и копьями; они, ежели християне, в тайные минуты уединения падают пред образами на колена, и молятся Богу, и плачут: возьми, Господи, от нас чашу сию, чашу злобы и жестокости, и обрати нас в радость и милость, к добру и счастью, ибо умрем мы, ежели станем такую жизнь продолжати. Да уж лучше смерть, Господи, чем такая-то жизнь.

Любовь и Милосердие, смерть! Есть ли они в тебе? есть ли у тебя душа? Отвечает: нет, я никто. Имени нет, души нет, мыслей нет, ничево нет; веры нет, памяти нет. Разве помнишь ты, человек, первое мгновение свое на земле? так же ты и последнее свое мгновение не упомнишь. Как ты родился, не расскажеши никому и никогда, да и сам не знаешь. И как ты умрешь, ты не знаешь. Ты произносишь слова: всегда и никогда, а наипаче при прощании с любимым человеком, и это прощание ты хочешь видеть вечным; ты хочешь, штобы длилось оно невероятно долгое время, али штобы стало так в будущем не раз и не два, штобы все повторялось, все приходило опять. Вот прихожу я, смерть, и вот мое торжество наступает, мое царство, я праздную. Время необратимо, но и меня не обернуть; не вернешь времени, и не вернешь меня. Важное и медленное течение времени, огромной ево реки, непоправимо и невозвратимо; все появляется и исчезает. А я, я появляюсь и не исчезаю! Умирают лишь однажды, но умирают безконечно, потому што умирают все: и звери, и птицы малые, летучие, и жучки крохотные, и змеюки коварные, ядовитые, и люди, кто себя осознает живым в вечно умирающем Міре. Едва родимся, красные, орущие, нас уже бросают в неистовый водоворот бытия. О смерть! — так закричал я. Я тонул робенком в омуте, водоворот и мя затягивал! речка наша малая, ямы да омуты в ней; щуки там водились толщиною во бревно. А Никитка, дружок мой зимний и летний, все кричал: там, на дне, знаешь кто живет?! дьявол, дьявол там живет! Утянет он тебя, во тьму, на дно утянет! Может быть, ты там мя ждала, смертушка, но не дался я тогда тебе робенком. Хотя тонули детки в селище нашем, тонули, и ревели, голосили матери, волосы рвали на себе, выдирали в отчаянии космы, обливались напрасными слезами. Наша смерть для нас всегда в будущем. Неужели ты здесь, рядом со мной, настоящая? тебя ищо нет. И ты уже есть. Вот што странно. Што такое умереть, скажи мне, смерть! и ответствует мне она: умереть, то перестать быть, тебя боле не будет посля меня, потом, а ты знаешь, не будет

никаково опосля, не будет у тебя будущево, протопоп, когда наступит царствие мое, ничего там не будет: ни крестьян, ни Царей, ни протопопов, больше ничево нетути на все времена. Ну-ка знаешь-ка што? слово БЫТИЕ, произнеси-ка ево ищо раз, повтори, посмакуй, яко угощенье царское, яко стерлядку жирную, янтарную, в устах своих. А што такое НЕБЫТИЕ? Да то очень просто, проще пареной репы. Не быть, не жить. Уничтожу тя, и не скроешься, не спрячешься от мя, ни в подполе, ни в погребе, небытие начнется для тебя севодня и будет продолжаться всегда; умирают только один раз, и сие происходит на веки вечные, на все время, што холодно, вьюжно расстилается пред тобою. Понимаешь ли ты, протопоп, что означают эти звуки, НА-ВСЕ-ГДА? мы не можем их осознать, то яко детская погремушка, слово НАВСЕГДА гремит над нами, птицей во веки веков чирикает над нами. А ведь на самом деле, протопоп, она льется, льется, твоя красная смерть. Смерть, воскликнул я, значит, ты есть кровь, значит, льющаяся кровь самая жизнь, из жизни самое святое, самое живое из всево живово, и, значит, ты... врунья презренная!.. ты!.. ты рядишься в одежды жизни. Ты притворяешься, ты лжешь нам всем, и слышим мы свой предсмертный хрип, и понимаем, за ним не будет никаково другово нашево хрипа, ты, человече, перестанешь и хрипети, и дышать, чрез миг молчание стеснит бледные губы умирающево, и последний выдох растает, и последние слова песни твоей оборвутся на краю пропасти вечново молчания. Последняя воля! Моя последняя воля! Никакая она не священная. Я же умру на костре! Священен только огонь, и все, што я выкрикну людям с моево костра. Все это они забудут, уйдя домой с широкой площади, от созерцанья жестокой казни; все, што я желал, я желал при жизни, прежде чем навсегда перестать што-либо желати. Я убеждал ближних моих в жалкой правоте моей, я помогал жене моей, но никогда не оставлю ей предсмертного напутствия: сделай, мол, после смерти моей то-то, а то-то, женка, не надобно делати. Делать нечево, надо просто жить и просто дышать; умом я осознаю, што и Настасья умрет, и детки наши умрут; мое с ними прощание, моя завтра смерть. Но ведь никакого Завтра нет, есть только севодня, есть только ты! воины во сражении добровольно идут на смерть, Родину защищая, и жертвуют своею жизнью с радостию. А в глубине души они все равно надеются на свое Спасение, жаждут выжить в мешанине смертей, в кровавой дикой людской каше.

Прощание, смерть... Дай мне с моими любимыми распрощаться, ведь в жизни все и всегда встречается и прощается. Вот мы с тобою, смерть моя, встретилися, встретились прежде твоего прихода ко мне, зачем-то мне Господь тебя показал. А может быть, вечен наш страх, он всегда живет в нас, невозвратный уход. Ты Смерть! то конец; час бесповоротный; после такого конца нет никакой надежды воскреснуть. Зачем я по эту сторону, а ты уже по ту? Откуда ты глядишь на мя? не за моим столом ты сидишь; прощание, молчание, мы молча попрощаемся с тобой, но я не люблю тебя. Я хочу прощаться с теми, ково я люблю. Это они наденут черные одежды, будут заказывать заупокойные богослужения; помни, будут петь панихиду по мне, будет звучать в ладанном сизом воздухе скорбная лития. Сколь на земле песен!.. все о тебе, навечная разлука, о тебе, с жизнью прощание, да о тебе, матушка смерть. Матерь Смерть — вот ты кто у нас. Есть Матушка Богородица у живых, живущих людей; есть Матерь Смерть у всех, кто навек во твое Царство утек непоправимое. Есть ли што на земле, што я могу исправить, наново прожить? все, што мы сотворили в нашей жизни, мы не изменим. Ни живя на земле, ни потом, после тово, как наступит твое Царство, Царицы ледяной, снежной. При жизни у нас был выбор; после жизни ничево не выберешь, ни капельки. Даже ежели там, в небесех, живут и странствуют во облацех души, мы можем лишь возрыдать о том, што мы, глупцы, содеяли, а поправить уже ничево нельзя, грех нельзя исправить, вот самое-то страшное. Неси клеймо, нечестивый, деяний

твоих на тебе! А кто там, в посмертии, буду я? Я блудный сын, и я возвернулся к моему отцу. Есть ли там, рядом с тобой, Матерь Смерть, Господь Бог? Я, старик, хочу стать робенком и обнять Ево колена, я не смогу изменить сотворенное, я не смогу исправить непоправимое, но я смогу за грехи мои попросить прощения у Тово, Кто все простит. Ты же, смерть, ничево не простишь. Бог может все, я ничево не могу. От всей нашей жизни ни кусочка времени не оставляеши нам, даже на сожаления, слезы сетования о том, што мы из жизни к тебе в объятия перейдем непоправимо. Нельзя отменить смерть. Соединяется в тебе все. Ты, Матерь Смерть, держишь нас в твоей горсти, но ты не можешь напитать нас сосцами твоими, грудью твоею, ибо вместо живой плоти у тебя кости, а вместо живых целующих уст у тебя голый лунный череп, ты сама умерла, смерть, ты покойница, ты лежишь во земле, и мы становимся все, приходя к тебе, похожими на тебя... как дети на Мать похожи... а Воскресение? Воскресение, смерть! ведь Христос воскрес! ведь Пасха, пасхальная радость, счастье, хоть один Он, хоть единожды, да воскрес! Все равно нам всем показал: вот он, Свет, вот она, радость Возрождения! И так, как Господь наш Исус, все мы возвратимся в жизнь на Страшном суде! Што молчишь? Не веришь тому?!

И так отвечает мне смерть: нет, не верю. Христос воскрес для вас. А для меня никаково Воскресения нет, есть только смерть, есть только я, я общая Матерь, я превыше всех богов, всех диаволов, всех людей, всей живой поросли, всех мертвых планет; во страну смерти входят, яко зерно в мельницу насыпают, я всех мельничным жерновом перемалываю, все превращаются во звездную муку и рассыпаются по небу. Неуловим ваш свет, живые, он становится светом мертвых. Вы корчитесь в последних муках, вы ждете от меня последнево удара, и вы надеетесь, а вдруг вы оживете, вдруг некто из ближних ваших взмолится Богу, и наступит ваше блаженное Воскресение, ваша тайная, и больше ничья, Пасха, и повторите вы радость Христову, и возрадуется все вокруг, и наступит новая весна, и священный Божий Міръ запоет вокруг вас снова всеми птицами-синицами, и побегут по синему, лазоревому небу облака... так Христос воскресил Лазаря; Лазарь, восстань, — крикнул Он ему, и вышел Лазарь из гроба, из ночи, из погребальной песни, ее спели для тово, штобы утешить вечно уходящих во мрак. Возрождение, Воскресение, несбыточная мечта! Тот, кто воскрес, уже совершенно новый человек. Он не помнит себя прежнево, он вдыхает земной воздух и начинает новую жизнь после смертного порога; ежели возвернулся ты, зачал ты Міръ читать с новой страницы. Возрождение не продолжение прежней жизни; ты забываешь все, што было с тобой. Я, Матерь Смерть, стираю твою память, выливается твоя прежняя кровь, и внутри тебя весело бежит новый красный огонь, новая жгучая кровь омывает потроха твои и душу, смывает все больные зарубки и родимые пятна, грязь и позолоту. Память и беспамятство, нет их в Царстве моем. Я знаю, ты хочешь жить; ежели ты хочешь, я оставляю тебе жизнь. Ты думаешь, я милостива, ты мыслил, я жестока, а я на самом деле ни добра, ни жестока; просто я твоя смерть.

Так беседовали мы, я и смерть моя, и все сильнее дрожал я, како на ветру, на холоду, будьто ледяной ливень посекал мя, мои щеки и плечи, и негде было укрыться бедному протопопу. Я не мог ее боле слушать. Она не могла боле глаголати; замолчала. И тихо на мя смотрела пустыми глазницами, незряче, слепо, темно, смотрела двумя безслезными прогалами вечной беззвездной тьмы. Я пытался заглянуть под костяной лоб ея. Страшные глаза ея, глаза тьмы, видели все. Наблюдали всю нашу, сужденную нам жизнь. Однажды приблизится сей полнощный череп к тебе, приблизятся озера тьмы, вберут твои зрачки два черных омута, и ты должен туда шагнуть, хоть и боязно тебе, и неохота тебе, и больно тебе, а час твой пришел. Дрожал я, сидел молча. Потом встал из-за стола, поднялась и Матерь Смерть; так стояли мы друг против друга. Не дрожала вострая коса в ея костлявых руках, сползла с ея льдяново затылка

белая грязная холстина, извозюканная в сырой кладбищенской земле; из-под подола высунулась скелетная стопа, и вдруг... ну разве ж то не чюдо, великое чюдо... вмиг оделась моя костлявая смерть нежной кожею, стала красавицей, стала голубкой-девицей, широко распахнулись небесные глаза, глаза лазурные, ясные насквозь, просвеченные солнцем. И так глядела эта девица на мя любовно, радостно, како в Пасху люди друг на друга в любови глядят, и протянула ко мне рученьки белые и тихо прошептала: Аввакуме, батюшко, обними мя, поцелуй мя, попрощайся ты со мною до времени, я приду ищо к тебе, не скучай по мне, ведь я одна люблю тебя, я одна помню о тебе, о тебе воспомню, явлюсь пред очи твои ясные, и тогда возьму тебя за руку и уведу в свое Царство-государство, а теперь живи на свете! Да помни обо мне, всегда помни обо мне, не забывай мя, не верь тому, што люди обо мне говорят: я ужас, мрак, боль, горе, тьма; я не тьма, не реки так никогда, я счастие твое. Я, Матерь Смерть, на самом-то деле безсмертие твое. Не убоялся я ея, протянул руки, обхватил ея за плечи, приблизил к себе, хотел крепко в объятиях стиснуть, да сжал только воздух, лишь тоску-пустоту обнял и прижал к сердцу, вдохнул глубоко, и чую запах полыни, горечь великую чую, и будьто кровью, людие, кровью пахнет... шагнул я назад, огляделся, изба пустая, ни Матери Смерти, ни звезды за окном, снег тихо мерцает, слышу стоны, хрипы, бормотанья ночные, ближние мои сновидят в ночи, спит Настасьюшка, спят детки, мои наследники, продолжение мое, вот умру я, они будут жить, в них моя кровь течет, разве сие не победа над тобою, Матерь Смерть? што Ты кичишься собою и Царством твоим бесконечным? Род, вот наше Царство! Род людской, вот счастье людей, вот их воцарение, вот их бессмертная, во времени летящая судьба! А што такое род? то наша кровь есть! Склонился я над колыбелькой, где спал мой сын родимый, глядел на ево лицо, личико светлое, разметал он ручонки, во сне посапывал, чуть дрожали реснички ево, чуть шевелилися волосенки ево от дыхания ево... сам я лошадиными ножницами постригал намедни ево. Настасья, женушка! детки наши вымыты были, накормлены, даже в голодуху, сами с голоду помирая, последний мы кусок изо рта у себя вынимали, а деток кормили. Такова судьбина человека, заради спасения подобного себе хоть кусок последний, хоть рубаху исподнюю, издырявленную, хоть жизнь твою, до дыр истрепанную, отдать! хоть до смерти все, што имеешь, отдавать и отдавать! особливо ежели то дитя твое, ежели тот, бедолага, блаженный и немощный, и не может сам себя прокормити. Много юродивых по лику земли слоняется. Много детишек во бедности и сирости возрастает, и, выросши, уж мужиками да бабами к чужим людям прибивается, просит у чужаков милостыню, клянчит-молит беспомощно. Што дите, што юродивый, люди Божии; не могут они сами на свете жить, не могут прокормиться, им нужно, штобы вечно кто-то им руку протягивал и хлеб в той руке держал и в горсть им влагал, штобы ели они, несчастненькие, и насыщалися. И будут есть они, но благодарить тебя не будут. Матушка Смерть, она побывала у мя в гостях, што она мне сказала, я тут же и забыл, лишь ток крови в себе слышу. Бьет кровь моя мне в уши молотом тяжким, и вновь не знаю я часа моево, так же, как никто из живых, живущих на земле людей часа своево не знает.

(пепел Аввакума сбираю в ладанку и вешаю на грудь. Мой крестный сон)

Собираю пепел. Здесь сгорел человек.

Собираю то, что осталось от человека.

Господи! Ты сотворил еси человека на земле для тово лишь, штобы он убил, изничтожил другого человека — брата своево, друга своево! Сродника своево... единокровника...

Война. Она опять идет. И отдышаться не успели.

Война! Братья убивают друг друга. Взрывают. Сжигают.

Все мы друг другу родня. Во всех едина кровь замешана; и струится по жилам, и хлещет, коли нас разрежут-разрубят, мечом расколют, раскромсают. Диавол злохитрый, диавол любодейный, диавол поганый: ево вера — ненависть, ево клятва — меч да секира.

Ты сгорел здесь, мой отче, брате мой Аввакум. Жизнь моя, старец мой, вечный юноша мой; сыне мой; праотец мой; брада твоя по ветру вилася, яко огнь палящий, небеса собою поджигала. Небеса, небеса. Хожу по пепелищу; северная холодная ночь спустилася; выпь страшно кричит; останки твои, мой родной человече, в ладанку собираю.

Пепел ищо горячий. Обжигает мне пальцы.

Да што я! Сердце обжигает.

Мы-то на земли живем-живем, хлеб едим да воду пьем; шти то с мясом, то без мяса; то на праздник пляс, то во горе нету пляса; кто мы на земли таковы?.. тише воды... ниже травы...

Здесь человек сгорел. Человек! Ведь не Бог же!

...А ведь и Бога Господа нашево взяли и распяли. Гвоздями толстыми, длинными, корявыми ко Кресту приколотили. Разве то по-человечески? Разве то не диаволово деяние? Што тогда с людьми сделалось, што они, многогрешные, такую Богу казнь удумали? К чему тако сильно, безумно, неудержно дали вырваться из груди вон немыслимой злобе своей? Вот все бают: зверино, зверино. Да зверь лучче человека иной раз! Чище! Милостивее! Хищный — да, человека загрызет; жрать ему всяко-разно потребно, да и мстит он охотнику, ежели охотника встретит во густой чащобе без ружья. Человек наисамый страшный зверь. Сие давно подмечено, да не мною; Временем самим. Людие, людие! Зачем вы, нечестивые, в пепел сожгли отца моево, наставника моево, великово Учителя моево? И не смогу, яко Магдалыня в ту достопамятную ноченьку, я кинуться на колена пред Учителем, протянуть к нему ручонки мои сирые, жалкие и воскликнуть во всю хриплую от счастия глотку: Равви! Ты ли!

И отец мой, сродник мой, великий Учитель мой не шагнет с кострища навстречь мне, не улыбнется светло, горько и чисто, не вытянет руку предо мною ладонью вперед, себя — от меня — защищая, меня — от себя — охраняя: милая, родненькая, да ты ж не прикасайся ко мне, ибо не улетел я ищо на небеса желанные, не вознесся горе, не восшел по золотой горящей лествице к родимому Богу, предвечному Отцу моему...

Пепел. Он жжет мне ладони.

Пепел протопопа. Он жжет мне сердце.

Я сейчас в ладанку пепел-то соберу да за гайтанчик на груди повешу; вот так, так; хорошо, мешочек холщовый, малютка, ты у меня на теплой груди угнездился; пепел теплый, живой, ищо костер не остыл, ищо угли тихо шевелятся, нежным синим светом горят, красным Адовым огнем мигают. Живые, будьто зверьи глаза в буреломе. Все живое. Все. Камни живые. Бают, камни движутся, тихо ползут, и через тыщу лет с места на место могут переползти. Звезды живые; они то вспыхивают, то гаснут; время их жизни не измеряется земным временем, не колышется земной кружевной занавесью. Мы не можем исчислить их путь, зреть их судьбу. Однако вот вспыхнут они в полночи, и зачнут падать, и густо таково валятся, бешано, люто — и ты понимаешь: тебе, тебе, жалкий, крохотный человечек, жить осталось минуту, а звезды — вот они, вечность целуют-милуют, украшают хрустальными бусами спящую землю нагую. Звезды, небес украшенье! Дальнего гиблого огня вдалеке движенье. Дальних казней пыланье. Костры и сожженье. Желанье и расстоянье. Между мной и тобой — кто задрожит соленой губой?.. Кто прошепчет молитву седую, святую?.. Кто шепнет еле слышно: не плачь, дай я тебя... поцелую...

Пепел. Вот и ладанка уж почти полна. А будто мешок без дна. Будто бы в черный мешок небеса, пепел твой, отче Аввакуме, сыплю, кладу, кладу — воззрю на звезду —

от усталости-боли едва наземь не упаду — во снеговую, во грузную ступлю борозду — а смерть, смерть моя, сколько ж ты раз приходишь в году...

На веку... вон висишь на суку... улыбается твой голый безумный рот... зажмурюсь, и тако, слепая, перехожу твою реку вброд...

И всовываю я башку мою бедовую, лихую в петлю гайтана, а на нем ладанка с пеплом Аввакумушки моево качается-раскачивается, будьто колокол, да только беззвучный, безгласный, безмолвный... гордый колокол-то, молчит... али вырвали у нево язык, язычище... и вместо звонка-крика — внутри, в медной чаше ево, лишь ветер гуляет-свищет... лишь Небесный Волк, горя красными зраками-звездами, неутолимо рыщет... а я тут, на земле, во снегов хрустале... то ли трезвенька, то ль навеселе... ступаю босыми ногами во мгле... ступаю по снегу, по разъятому веку, по рытвинам-ухабам, по мужикам-бабам, по царям-господам, никово не предам, а всем лишь горбушку хлебца подам... от сердечка, хоть сама-то не вечна... хоть сама-то — тощая свечка... во небесном храме, продутом всеми ветрами... во небесной черной яме, заваленной звездами-снегами... Аввакумушка... я же тут стою одна... ни простору, ни косогору, ни ветру жена... ни Царева держава... ни смердова кошма... ни прозреть велелепно, ни сойти с ума... ни водой струиться, ни святым уставом в ночи светиться, ни кровию течь... а слезами лишь литься да литься, лишь лить вдовию речь — над кострищем-пепелищем... над рудою огня... а вокруг время ветром свищет... норовит в грудь, в лик соленый ударить меня... Ах, ударь мя, ударь, господин мой ветер... наземь бродяжку повали... я и за тебя, брат мой ветер, в ответе... и за все полоумные ветры земли... и за каждого оглашенного младенца... за мышонка каждого, паучка... ветер, мы же с тобой единоверцы... вон она, зри, вера моя — пламя златое на дне зрачка...

(Аввакум и болярыня. Встреча посмертная)

Сам не понял, как забылся, как заснул. Зрю, льется на пол чернило из чернильницы, льется по рукам моим, по ногам... инда темная кровь. Тут я и вздрогнул, и проснулся, обвожу глазами избу, вроде в моей избе, а навроде и не в моей; сруб изнутри златом мерцает, странными золотыми снежинками, будьто сруб тот пирог, и ево хозяюшка ягодой мерзлой обсыпала, как на Святки-колядки. Небушко, небо, беззвучно собакою лаешь, звезды голодные роняешь, а нечем мне тя, небко, угостить, и пирога нету, и даже горбушки ржаново нет, Настасья спит у печки, вповалку на полу детки спят, а я царапал перышком, царапал, об чем чертал, пошто черкал... мне бы тоже почивати, а я все сижу, а мощный дубовый стол, ровно лодья, поплыл, подобново со мною не бывало, шепчу в ужасе: остановися!.. за воздух крючьями-пальцами хватаюсь, сам плыву, а все вокруг мя застыло, а золотые звездоньки всюду вспыхивают и гаснут и опять возгораются, и вот из тово золотово сияния, свечения и вспышек, звездных узоров занебесных явилась моя болярыня, моя Феодосия Прокопьевна. Давненько я ея не видал, не слыхал. Я сижу, ноги ослабели, встать не могу, стал, шатаясь, инда пьяный, низко-низко поклонился. Глава моя закружилася, а болярыня стоит предо мною во плате нарядном с кистями, не в черной рясе монашьей, не в черном клобуке монастырском, а во поневе богатой, перлами озерными развышитой, да в радостном, как радуга, платье, златошвейки, видать, денно и нощно расшивали, немало потрудилися. Уста мои онемели, и холодными, твердыми, недвижными губешками я пролепетал: здравствуй на множество лет, болярыня Феодосия! али инокиня Феодора, како тя сей час тамо, на небесех, кличут! Каково на тебе платье сие роскошное! пошто ты ево наделанацепила, разве праздник великий какой нынче двунадесятый? Стала чаще дышать и выше подыматься грудь ея, и сильнее кружилась моя башка, искал я очами моими оченьки ея, штобы распознати в очах ея, што на сердце, на душе у нея делается; ра-

зомкнула она алые уста, тихо шепнула: я, батюшко Аввакуме, нынче невеста, нынче свадьба моя. Я так и присел. Да ведь ты же умерла, девушка! — шепотом вскрикнул я, глотка моя захрипела, не в силах я вымолвить был боле ничево, стоял столбом и, как рыба, воздух немым ртом ловил, а потом все-таки выхрипнул: ты же на том свете, матушка, жестоко Царем казненная возлюбленная моя! Да како же я тя уважу, как признаю, да в такой роскоши неимоверной, таких нарядах ханских-татарских, а может, царских, а может быть, ты у нас нынче Русской земли Царица, да-да, я все понял, Царица ты Руси днесь, Алексей Михайлыч, Царь наш, тебя, небесную, нынче в жены берет, из облаков, инда птиченьку, голыми руками взял да за пазуху засунул тебя, милая, а я-то, видать, тебя потерял. Улыбнулась тут она широко, шире, ищо шире, улыбкой, како солнцем, все вокруг озарила, да и так возговорит: батюшко Аввакуме, то свадьба наша с тобой, нас с тобою нынче повенчают! Нешто это можно при живой-то супруге моей, забормотал я, вон, вон, оглянися, Федосьюшка, вон у печи Настасья моя спит и детки мои почивают; об чем же речь ты ведешь непотребную? Повернула голову она, и жадно гладил я глазами ея шею лебяжию, и будьто бы вокруг нея распахнулись белые широкие крыла, синей, лазоревой, перламутровой метелью замерцали, звездное сияние от крыльев, от перьев тех исходило, как ночью от великих снегов в белом зимнем поле ночной свет брызжет, таинственный, святочный, сребряный. Крыла невестины, белый шелк, беззвучно колыхались, я чуял дуновение ветра ото всех лебединых перьев. А наша свадьба, Аввакуме, небесная, никому она не помеха, вместе навек, она лишь для нас обоих, поэтому не бойся, не пугайся, протяни мне обе руки! Я не возьму тебя с собою в Міръ Иной; там, где я живу ныне, места нет покамест для тебя; в назначенный час ты уйдешь в Иномірие. Тот свет безбрежный, мы летаем везде, мы видим все, нам внятно все, мы чуем все, мы мыслим обо всем, мы жили прежде, мы живем ныне, и мы живем чрез горы времени, и все это одновременно, Аввакуме, потому не бойся, протяни руки и гляди смиренно!

Болярыня моя протянула мне обе руки, я схватил ее руки жадно, мне было все равно, я хотел в Иномірие, я хотел в Міръ Иной, жаждал переступить порог жизни, измучился я здесь и Настасью измучил, зачем с нею детей родил на страдание, на умножение боли, исполнив Божий закон, продолжение рода. Зачем вся жизнь? затем ли, што в ней есть таковой брак Небесный, сочетание двух духов, предвечная Брачная Вечеря в чертогах у Господа?

Так стояли мы, рука в руке, и таково сильно колотилося сердчишко мое, што ничево я не мыслил уже, не чуял, а только повторял себе одно: Господи, ежели Ты сей миг, вот сей же час прикажешь мне умереть — я и умру; ежели Ты захочешь, чтобы мы с Федосьюшкой жили вечно — и будемо жить вечно; только, Господи, так молился я, остави жити на земле родимой женку мою Настасью Марковну и детушек моих единокровных, призри на них, милостью Твоею их не покинь.

Будьто ветер взвился вокруг. Сие все были люди, люди, люди. Они вихрились. Превращались в метелицу, во вьялицу. Целовали нам с болярыней руки и ноги. Прижимались к нашим лицам; моя-то рожа вся мокра, залита, инда ливнями, слезьми, болярыни лик — радостный, и счастием лучится, и сиянье подоблачное изо щек и лба испускает, а очи горят, инда смарагды арабские самолучшей огранки. Люди завивались невесомым небесным мафорием округ нас, взмывали вверх, под потолок избы, а матицы уже не видал я, и крыши избяной уж не было, и соломы как не бывало; безпредельное звездное небо воздымалось над нами, мороз скулы и веки остро щипал, звезды сыпались нам во власы, на плечи холодной хрустальной половой. Я терял разум, да только и повторял себе: Господи, да будет воля Твоя, Твоя святая воля на все. Болярыня крепко держала мя за руки. И начали мы с нею подниматься над полом. В воздусях

повисли. Сверху видел я спящую Настасью, деток, сладко во сне сопящих у остывающей в ночи печки. Я шепнул: Федосья, а мы што, сей же час ко звездам и подымемси? Лишь улыбка взошла ярче, светлее на ея лик, прекрасный, юный, не исхудалый, какой заимела она под голодной мукой, бичеваньем, дыбой и иной пыткой, а свежий, наливной, румянцем светящийся, на щеках нежный пух, во очах игра драгоценная Солнца лучезарново и текучей воды... Жена! Счастье мужам! Довольство Господа! И Господь красоту любит, не отвергает! Да разве ж правда правдивая, што красотою убережется наш многострадальный Міръ от разрушенья, разъятия, развенчания, — от Раскола! Разве ж возможно красоте закрыть путь-дороженьку дикой ненависти, што одна-единая всех людей, да, всех, скопом, великою необъятною толпою, во всеобщую могилу — сгонит!

Медленно опустилися мы вниз. Под стопами босыми я холодные половицы вновь почуял.

Стояла болярыня моя, красавица. Плохо я ея мудрости Божией учил. Никакой мудрости она ни под пыткою, ни в черной голодной ямине не набралася. Там, в посмертии, она вдруг вернулась туда, откуда в неистовую, высокую и суровую веру ушла — в нежность и Солнышко ясное, в песенку птичью, синичью, в радугу Радоницы, в сияющий веселый блин синеокой Масленицы, в нежно-бархатную, яблочную кожицу чуток загорелых по весне щек, во взмах густых ресниц, ах, песенку мурлыкать, бормотать, а не класть поклоны исполать... все глубже, глубже во время нырять-уходить, рвать с тяжкой казнью клятую нить... а паук все ткет и ткет сребряный ковер, все трудится да трудится безымянная арахна... а девица-красавица все стоит предо мной, и я ея крепко, крепко за обе рученьки белыя держу, ея ручоночки во моих грубых мужичьих руках сожимаю... и мню: да ведь то не болярыня никакая, то видение мне неизъяснимое, то ведь, Господи, сама Богородица ко мне явиласи... то Ты, Господи, Ея, Пречистую, ко мне послал-возвернул, ко мне, малому червю, беспутному протопопишке, направил-отрядил... штобы Она мне, Матерь Божия, Заступница от всех бед и зол несчислимых... што... што — мне?.. зачем я — Ей, Великой, Превечной, Небесной?.. зачем она обличье болярыни моей приняла?.. не видение ли то бесовское, не соблазн ли то чарующий?..

А рученьки таковы теплые... а глазыньки таковы сияющи...

Нет, не может бес глядеть так нежно, так солнечно, так всепрощающе...

И повалился я, рук Ея не выпуская, пред Нею на колена. Владычица!.. так воззываю, Защитница малых сих! Прости и помилуй! Дай мне знак, што я прощен и обласкан. Хочешь — с Собою возьми. Хочешь — ищо пожить оставь. Весь век сужденный Тебе, Радость, молитися стану!

И тихо, тихо вынула Она руку Свою правую из моей шуйцы. И тихо, нежно мя перекрестила. Люблю, послышался мне Ея шепот летящий, люблю тя навеки, и даже тогда, когда ты уйдешь с родной земли — в огне — в небеса; люблю тя всегда, времени счисленье потеряеши, протопоп, сколь годов и веков и тьмы тем бессчетных лет буду любить тя и молитися за тя. Нет предела любови! Сколь ея песен на земли и в небеси люди и Ангелы поют! Я тоже ея песню пою. И ты повторяй за Мной. Слова простые. Главное, любимиче мой, с дыханья не сбиться.

И запела. И я запел вместе с Ней.

И так мы пели оба; и я не знал, ту ли мелодию я вослед за Ней повторяю или вру безбожно, хуже последнево певчево, пьяненьково вусмерть посля Прощеново воскресенья; и Она то Богородицей во славе и сиянии предо мной представала, то вдругорядь видел я в Ней милую сердцу Федосьюшку, мою понятливую веселую ученицу, вдову покойново болярина Глеба; а то вдруг повернется к чадящей свече, застынет,

ровно ледяная статуя, и выхватит свечное пламя из тьмы Ея скулу и висок, и глаз, схожий со спелою сливою, — и рядышком вижу Настасью Марковну, женку родную мою, и уж не знаю, кто эта занебесная Жена предо мною, и зачем я стою на коленах и Ея за руки белыя, теплыя крепко держу, и зачем с Ней единую песню пою, и несть песне конца и начала, и несть ни молитвы, ни боли, ни печали, ни воздыхания, а только жизнь безконечная.

(все кончается)

мы утешаем себя что жизнь бесконечна мы воскрешаем в памяти всех убитых мы разрушаем страшно светло беспечно то что назавтра будет во бронзе отлито мы подражаем жизни в наших созданьях мы лепим жизнь из ветоши мертвой убогой мы именуем жизнью тюрьму многоочитых зданий где никогда не слыхали дыханья Бога мы называем войну расколотым миром чтоб не проснуться мы пьем снотворное зелье мы потерялись меж мором гладом и пиром между собачьим воем и слезным весельем вон она слишком рядом последняя встреча Сретенье Пасха Исайя ликуй венцы златое колечко ты ни за что не ответишь я за все отвечу тихо скажу себе все кончается ну конечно

(Аввакум и женка его Настасья в тюрьме. Последняя ночь перед казнью)

Сия последняя, последняя ноченька тьмою навалилася пред сожжением мужа моево, Аввакума Петровича. Сердобольные тюремщики пустили мя к нему в тюрьму, попрощатися. Застенок, я взошла осторожно, холодно, дрожу, тулупчик ветхий на мне, на локтях и подоле истерся. Старость — это ж нищета, душа тож ветхою становится, и на ветру ея лоскутья сиротливо мотаются. Вот прожили мы с протопопом цельную жизнь, а ничево не нажили, ни яхонтов, ни сапфиров, ни рубинов, ни смарагдов, ничевошеньки, только два старых тулупчика, што на ево плечищах, што на моих плечиках... уже спина бочонком выгнута, становая жила моя временем порушена-подгрызена, а детки, ну што детки, детки росли-росли да и выросли... а мужа моево вот на казнь поволокут. А тяжело, страшно сие, умирати в огне. Зачем огонь, уж лучше бы пулю в нево выпустили, из ружжа застрелили бы, како медведя на охоте, а то ищо секир-башка, а то ищо четвертование есть, вот страшная кончина. Я все молилась: отведи, Господи, казнь лютую такую, но огонь превеликое страдание, не возьму в толк, как Вакушка сподобится вытерпеть все; только всю жизнь нашу и повторял мне протопоп мой: терпи, Марковна, терпи, милая, терпение да смирение две наиглавнейшие Христовы добродетели, и я терпела, и я смирялась. Я шагнула к нему, в руках горшок с кашею держу, он спал, лежал на расстеленном под собою овечьем тулупе. Спит-лежит у мя под ногами, сопит, ровно собачонок. Как он может спать в такую ночь пред смертью, пред гибелью своей? Я заливаюся слезьми, я молюся, я воображаю, как огонь округ мя зачнет вставати; как затрещат власы мои в огне, и жженой костию остро запахнет; как станут лопаться и выливаться из-подо лба глаза, ибо неистов жар. Вставай, вставай, муж мой родимый, это я, жена твоя Настасья Марковна! Я пришла проститься с тобой пред казнью твоею! Повернулся ко мне, разлепил глаза и ищет меня глазами, спросонья зрачки плавают, яко рыбы, не уразумеет, где он, долго поднимается с пола, будьто рыба из глубины вынырнула и на тихой глади воды, задыхаючись, раскрыла рот. Ну точно, како рыбица, воздух ртом ловит, задыхается. Я провела ладонями по ево лицу, оно все мокро, будьто плакал он ночь напролет. А может, просто сильно взопрел. Обтерла я ему лоб, щеки, шею, сняла платок мой и ему пот предсмертный-последний весь вытерла, платком боль ево промокнула. Осмысленным стал ево взор. Поглядел он на мя, узнал. Настасьюшка, душенька, ты ли это! Как же тебя сюда впустили! Сюда же никто да никово не впускает никогда! Да мне уж и хлеба сюда не

приносят, ведь заутра казнь моя, только воды испить дают. Ах, Настасьюшка!.. горшочек кашки... тепленькая, принесла мне... Склонился над кашею. Я пошарила у себя за пазухой и вынула лжицу сребряную с царской печаткою и сухарь. Не помнила, как я дома слепо, рукою дрожащей сунула ложку мужнину и сухарь тот себе за пазуху, ближе к сердцу, прижала хладное сребро и высохший хлеб ко голому телу моему. Сначала лжицу в руки мужу всунула. Он кашу ел. Ноздри раздувал. Рот ладонью утирал, и щеки тож. Горшок пустой на половицу поставил. Я глядела: руки ево тряслися. Протянула сухарь мужу. Он схватил ево и стал грызть, таково жадно, больными, слабыми зубами. Грыз, размалывал во рту, изранил сухарем тем десны, грыз и постанывал, грыз да улыбался мне, грыз и плакал, плакал, я видела, как плачет человек, ядущий жесткий черствый хлеб, последний ево хлеб на земле. Муж мой доел хлеб, утер рот ладонью, посмотрел на меня. Ну што, Настасья, што скажешь мне напоследок, што вымолвишь на прощание? Мне уже ничево не надобно. Буду тебя слушать и не слышать. Я знаешь, слышу сейчас голоса непонятные, будьто небо звучит, будьто земля под ногою говорит, но не могу словеса различить. У неба есть язык, у земли есть язык, у зверей и птиц, Настасьюшка, есть свой язык, а человек, он сам есть язык, народ, он весь, огромадный, говорит на одном языке. Мы с тобою вот русские, язык наш русский, народ наш русский, а любят нас всех на земле али ненавидят нас всех на земле, вот ты мне скажи? Зачем нас губят, зачем люто сражаются с нами? Зачем все льют да льют кровушку нашу? Я ничево не могла ему ответствовать, слезы сами лилися у меня по щекам. Я посмотрела на расстеленный на полу тулуп и шепнула мужу: давай ты ляжешь, а я лягу рядом с тобою и крепко-крепко тебя обниму. И так мы будем возлежать, милый мой, так лежать. Мы будем как в стародавние времена, так будем мы с тобой вроде как во прежней любви, только застынем в объятии, лишь в мыслях вернемся в то милое сердцу времячко, недвижно замрем, будьто мы уже лежим в могиле нашей. Не сетуй, какая жизнь у нас севодня; будет ночь, как целая жизнь; как целая жизнь, пройдет эта ночь перед нами, мы будем видеть все, што с нами случилося, яко в зерцале, во сне, видение есть тоже сон, а сон есть наша явь.

И он лег на брошенный на пол старый кудрявый бараний тулуп, я легла рядом с ним и так сильно прижалася к нему, што стали мы единым существом, будьто мы оба были один спиленный старый дуб, и таково неразъемно, едино-одиноко лежал он, могучий, на горючей земле, сей час подойдут дровосеки, распилят ево, расколют на дрова и дровами теми дубовыми истопят зимнюю печь; лучче всево, жарче всево горят в печи дубовые дрова.

Я закинула Аввакуму руки за шею и зачала покрывать поцелуями ево бедные соленые щеки, ево торчащие скулы. Ты голоден, шептала я, я твой хлеб! Ешь меня напоследок, пей меня как вино! Я твое вино, я твоя вода. Я мать твоих детей, я тебе матерь, ты сынок мой маленький, мой Вакушка, малюточка, и санки везешь за собою на веревке, кататься с горки, пойдешь снежками бросаться, мальчонки, друзья твои, уже ждут тебя, веселиться с тобою, играть в зимние игры, не знаешь ты, мальчик мой, што станется с тобою, какой дикою, ужасной смертию ты умрешь, а за што ты умираешь, муж мой? за веру! за то, штобы люди поняли: не хлебом единым, не сухарем предсмертным единым жив человек; человек жив любовью своей и верой своей.

Люблю тебя, муж мой. Верую в Бога нашего, верю в тебя, верю, выдержишь ты лютую казнь, не будешь кричать о пощаде. А будешь стоять ровно и твердо, видя округ себя языки огня. Язык, язык, у огня есть язык, значит, огонь тоже народ, значит, огонь тоже говорит по-русски, как мы с тобою, как все люди наши; огонь тоже человек, значит, огонь это Бог, потому што Господь создал человека по образу и подобию Своему; значит, муж мой родной, огонь подобен Богу, и то не злая-людская, а Божия сила поборет тебя. Войди в огонь, благослови ево, благослови и полюби твою смерть, хоть

это очень трудно. Я то говорила, или он мне бормотал, я уже не понимала; зачем была на земле вся наша жизнь, рожденные нами дети, будут жить дальше они, в свой черед родят детей, но мы не увидим внуков наших, и наших правнуков, и наших далеких потомков; времена смещаются, времена меняются, времена умирают так же, как люди. Все крепче вдавливала я мое грешное тело и мое зареванное лицо в лик и тело мужа моево, и все боле едиными становились мы с ним, и я понимала: ежели сей час войдут тюремщики и повлекут нас наказывать, они потащат нас туда, на костер, вдвоем.

В окнах молоком растекался рассвет. Аввакум поклал руку свою мне на голову. Настасья, глава твоя горит инда в огне, не захворала ли ты, всю ночь бормотала псалмы. Ты молилась всю ночь, я слышал, я знаю. Я тоже молился, и в объятиях крепких, неразъемных мы друг другу молились, мы оба Богу молились, и Бог разговаривал с нами, и мы Ево словеса повторяли, а теперь утро, сочится рассвет сквозь грязный бычий пузырь, што вставлен в оконце, я таково благодарен тебе, слышишь, што ты у мя напоследок побывала. Ты жена моя, ты крестик нательный мой, ты голоса деток моих, ты любовь моя, прощай, любовь. И он покрыл поцелуями лицо мое, так же, как я в ночи покрывала безсчетными жаркими поцелуями ево лицо. Рассвет струился, мы лежали молча, затрещал ключ в замке, взошел тюремщик и зычно крикнул: подымайся, осужденный на смерть! последняя молитва, исповедь, последний глоток воды из кружки!

А ты, баба, проваливай, беги отсюдова што есть силы, и штобы только пятки засверкали, иначе и тебе несдобровать, наш начальник суровый судья, может и тебя осудить на смерть как жену преступника. Я встала, заправила волосы за уши, выпрямилась гордо, говорю: осуждайте, на казнь ведите, смерти не боюсь, и муж мой смерти не боится, не боится ничево, ни зверя диково в лесу, ни боли, ни Ада, а смерть, што она? егда она придет, нас уже не будет. Ведите меня казнить! Тюремщик грубо схватил мя за плечо и вытолкал за дверь; толкнул в спину. Я чуть не упала, выставила пред собою руки, покачнулась, побежала и слышала, крики мне в спину пускали, возгласы, яко снежки, в мя швыряли: беги, баба, беги! Ты, баба, все одно зайчиха! Как вы, бабы, смелыми ни притворяйтесь, вы не только смерти боитесь, а и побоев мужа, плетки, што по спине вашей, да по раменам, да по заду ходит туда-сюда! Родов боитесь ваших, валяетесь по уши в кровище, орете, блажите недуром, и лишь немногие из вас, баб, умеют муку терпеть! Я отбежала от кричащево тюремщика, стала, обернулась и крикнула: терпи и ты, бедный человек! Терпение и смирение самое главное в жизни и смерти!

(Аввакум и огонь. Разговор с огнем)

— Смущенное заячье сердчишко устрашается, больно да часто бьется, а смелое сердце не устрашается. Каково часто я повторял, шептал: блажени нищии духом, ибо тех есть Царствие Небесное, и далее бормотал из святой Нагорной проповеди: блажени плачущие, ибо тии утешатся. Вдумайтеся, людие! Мудрость Божию несу вам на блюде. Не богачи блажени, не Цари, не князья и патриархи; не те вовсе, кто власть имеет и властью поигрывает, како соколом на плече, на рукавице, остроглазым, охотничьим. Всяк верный не развешивай ушей тех и не задумывайся: вот ты, кто любит и верует истинно! Не бойся ничево. Гляди храбро во огнь палящий. Ты, огнь, это ты бойся мя! Ибо я гляжу во тя, огнь, дерзновенно и радостно. Я, огнь мой, я на твоея страже, ни сна мне ни пищи, стою! Да штобы ты ярко, ясно горел! Штобы — не гас! Светил мне промеж глаз! Я, хоть и протопоп, да пошли мя на войну — стану сражатися не хуже каково витязя-вояки; даром што Книгу Святую ночьми читаю, пока под полнощными звездами лают и лают собаки! Ах, огонь, мя не тронь! А хоша бы и тронь! Отскочи да охолонь! Я и сам ярко горю; Богу Господу и Владычице Богородице все двери души отворю; и они оба, небесные жители, на мое пыланье глядят, а время, время-то не во-

ротится, людие, назад... И мы с тобою хотим жить и дышать; в счастии любить, а не в мучениях помирать; а ты, огонь, што воздымаешь в зенит языки?! Я тебе устрашенье, а ты, бедный, бесишься от тоски! Што, огонь, доски трещат, бревна чадят, ветки пылают, дыма не зрю от слез... Слава Тебе, Боже наш Господи, слава Тебе, Христос!

— Ах, я, огонь, огнище окаянное, зрю тя, Аввакуме, сквозь Антихристовы пределы. Собаки бешаные лают, безустанные, а я горю, разлучаю душу с телом. А я горю, мне печали нет, я был и буду, и я есть сей час; я огонь, приравнен страшному чюду, не держите мя про запас. Для меня Антихрист — враг, а казнимый — любимый, я люблю ево просто так, люблю ево всем пламенем, жадно-неизъяснимо! Противу мя люди грудью встают, напролом идут, мя хотят остановить, погасить... умертвить. А я все вяжу-вяжу мою золотную нить. Погибая во мне, в жаре-огне, человек просит: пить! А я в битву бросаюсь, в сечу, поджигаю стога сена, яко во храмине свечи, и люди, мной возожженные, живыми свечами во поле горят, горят их власы и наряд, горят их руки-ноги, горят их крики при дороге! Горят их судьбы-жизни! Ах, водицы пробрызни... Я не Антихрист. Я Богом рожден. Я исшел из снежных пелен. Надо мной песню Богородица шептала. Полярная звезда вонзала в мя тонкое жало. Сколько людей носило мя в себе в радости и в печали! Они об том не знали. Я был в конце. Я был в начале. Мне поклонялись; мя не замечали. Я выжигал целые земли, целые страны. Я плясал на пепелищах страшно и пьяно. А ты? А ты, отче Аввакуме, што предо мною еле дышишь?.. Восстань, душе, восстань, што спиши!..

— Огонь, ты мне искусство! То тебя густо, то без тебя пусто! Огнь, ты Дух ведь Святой! Куда ты бежишь, траву сухую поджигаеши собою... постой... Я мучим тобой. А в темнице мне плохо, дико без тебя. Тюремщики несут мне воду, а надо бы огня! Такая уж у мя без огня судьба: не прожить мне без Божьево пламени и дня! Яко наг, яко благ, яко несть ничево... огонь пожрет мое жнитво, огонь спалит мое естество, а все огонь — мое святое торжество! Цепи, железяки, зубастые собаки, огни во мраке, факелы, пылает смола... душа, а ты, матушка, што же?.. жила?.. не жила?.. Дождь, ливень, хлад, мраз, — с полатей слазь, гремит под сводами приказ, а мы в сем Міре навек ли? на час? Никто не знает, огнь, часа своево; никто, ни един живой. Нырну во тя, огнь, с головой! Никогда, огонь мой, никаким благом не соблазнюсь. Тя вместо хлеба поднесут — проглочу тя, слезу пролью да утрусь...

— А ты, Аввакуме, разве не страшишься Антихриста? Меня, огня, топора да висельцы не боишься, нет? Огонь, я все человечье выметаю чисто, начисто выдуваю из Міра и стон, и плач, и закатный свет! Я так богат! Богаче всех царей в парче, зело изукрашенной перлами и финифтью. Я сам злато! Мя нищим швыряй, на площадях монетой раздай! Грядущая война на мне одном висит, на моей златой нити. А хлестну — так глотки всем залью: через край! Моя пирушка, полоумней день ото дня! Мой праздник безумья и смерти! Ни царь Давыд, ни царь Соломон песню не спели так про меня, как ты, Аввакуме, да к тебе на костре твоем подойдите, посмейте — не сможете преступить последний порог огня!

— Ах, огнь, огнь ты беспутный... Орут люди, слуги Царя нашево: стреляй, вешай, руби, пали да жги! И подначальные стреляют, рубят, вешают... поджигают, и пламя идет стеной... Власть-то всегда мнит: все вокруг — враги, лишь враги! И не зрит, не чует, што там завтра станет с тобой и со мной... А мне больно! А мне — довольно! Довольно, досыта накормили мя тобою, огнем! И мне от тебя, огня палящево, и в ночи светло как днем! Церкву нашу разорили, унизили, растоптали; выжгли ей новомодьем нутро. Растащили Святаго Духа сияющее добро! Мощи крадут... Богородицын образ крадут, по снегу из храма — на ветру тащат... Сдирают оклады, венцы и наряды... веру казнят, и ея огонь не вернешь назад! Святой огонь... да, ты же можешь быть святой... Куда ты за татями, катами?! постой!..

— Аввакуме, я жгу древо жизни, мировое древо. Ель изукрашену. Живую колючую башню. Страшно тебе?! Мне — не страшно. Я привык. Слепит мой лик. Я сам безсмертен, я сам нетленен, не изнурен временем, вечен и неизменен. Вы, люди, мне кричите: радуйся, огнь! Да, я свят. Мя — не тронь. Я сам себе всадник и конь. Я летящее пламя погонь. Ешь мя, я вкуснее просвиры; пей мя, я огненное вино; я Причастие нового пира, старый мир мною сожжен давно. Аввакуме, я с тобой неразлучен. Я есмь ты, а ты еси я. Прегрешения наши сгорают, звездами светят колюче. А мы, обнявшись, вместе стоим — на краю бытия.

— Огнь! Огнь! Ты слышишь мя! Отыди! Я тя ведь ничем не обидел! Больно мне! Больно ты обымаешь! Больно дух из мя вынимаешь! И молитовку-то тебе не прочитаеши! Без слуха ты, без звука! Одна от тебя смертная мука! Уйди! Уймись! Погасни! В одночасье! В безстрастье! Во всевластье! Пламенное Распятье! Жаркое мое проклятье! Мое золотое, по костям жестокой судьбой пошитое платье! Не хочу умирать я! Не хочу... умирать я...

— Молчи, Аввакуме. Молчанье меж нами. Тишиной во храме. Лишь свечи горят, лишь горят мои вечные свечи. Болью. Слезною солью. Далече. Далече.

АНГЕЛ МОЙ
ФРЕСКА ЧЕТВЕРТАЯ

(еще немного)

еще немного потерпите еще немного сражайтесь веруйте любите молитесь Богу последней вашей смертной битвы уж срок назначен читайте мальчики молитву душой горячей мужчины тоже плакать могут когда смерть близко сынки молитесь ночью Богу ведь ворон низко летает вьется черный ворон и ждет добычи Бог вот Он тесно рядом возле душой синичьей молитесь мальчики креститесь свет возымейте собою крепко Міра нити Раскол прошейте прольется кровь о как вас много на поле ляжет да люди после вам и Богу спасибо скажут поймут судьбу кровопролитья все знаки Бога еще немного потерпите еще немного

(я и Мальчик: Странница и Ангел)

Откуда он опять появился? Я не поняла; средь снегов я стояла. Холщовое платье, дыра для башки, две дыры заместо рукавов, подол крутит ветер, гляжу на ноги мои голые, юродивые; опять я на снегу босая, все повторяется. Никуда мне не уйти от самой себя; а ты, мальчик, зачем здесь?

Он молча взирает на мя во все широкие, по-коровьи под крутым лбом стоящие глаза, я не знаю, сколь ему лет, он глядит-глядит, потом делает ко мне по снегу шаг, потом нежно, осторожно берет мя за руку, будьто рука моя фарфорова, хрустальна, будьто рука живая — во храмине горящая свеча, и ея надо донести. А куда? а вон туда, вдаль, за горизонт, на другой берег Белого Поля, там черная кромка леса, родимово дома зверья и птичья, там тихий колокольный звон, и гаснет он, все гаснет и умирает, а потом опять наплывает волной. Все есть музыка и ритм, звучат снега и небеса, плачет музыкой сердце в нас, под частоколом ребер. Мальчик стискивает рукою руку мою. Я крепко сжимаю ево хрупкую ручонку в моей сильной, изработанной руке, наклоняюсь к нему и невнятно шепчу: куда, куда мы пойдем? мне некуда вести тебя, дитенок, мне негде тебя согреть. Нет у меня дома, нет у меня печи. Нет у меня теплово вкусново пирога с мясом и луком, со сладкою родительской вишней, с яблоками, резанными вострым ножом под бабьи песни и прибаутки. Нет у меня сотововo меда, штобы откусил ты кусок и зажмурился от праздника: еда — счастье, еда — святое действо, но от-

няли у меня то святое и преблаженное, вытолкали взашей на мороз и крикнули в спину: иди прочь! нам не надо тебя! Лишняя ты тут! Мы не видим тебя, мы не слышим тебя, хоть разбейся, хоть рекой под ногами нашими разлейся! ты нам не нужна! все слова, што ты изрекла, мы не запомнили, мы не записали их во книге, не воткнули черным изюмом таинственных знаков и буквиц в тяжелые хлебы-свитки; ты сгоришь сама, одна, во Белом Поле! Мы даже не будем разжигать костер, штобы кинуть в нево тебя по весне! Ты чучело Костромы, ты ржавая ложка, ты источенная вредным жуком оглобля, ты ветхая матица, и вот-вот надломишься, и дом упадет! Пошла вон, пошла вон!

Я вышла на мороз, на снег синий и яркий, в нищей холстине, босая, опять, как и прежде, сирота, так стояла, и вот ты подошел. Куда же мне вести тебя?.. мне некуда, Ангел мой, тебя вести. Веди меня ты. Веди меня — ты! Он сказал мне пожатием маленькой руки своей: да, это я тебя веду, и я тебя приведу. Я приведу тебя туда, куда тебе суждено прийти. Тогда я разлепила застывшие на морозе губы и спросила ево тихо и хрипло: мальчик, ты чей? Как тебя зовут? Глаза ево засмеялись, заискрились святые звезды в них, заблестел алмазный снег; горячими губами улыбнулся он мне в ответ, на скулы ево радостно взбежал мороз и выкрасил лик ево веселой красною краской, и выдохнул он на морозе вместе с клубящимся паром, како выдыхает лошадь, запряженная в могучие розвальни: меня звать Вакушка! Вакушка! ищо раз повторю: Вакушка зовут меня! Пылающий пот побежал по моей спине. Аввакум, што ли, хрипло спросила я. И голос мой упал ниже снегов голубиных и растаял во льдах. Да, Аввакум! крестил сам отец меня, а звать отца моево Петром, значит, я Аввакум Петров, и вот к тебе пришел. Шелшел я долгонько к тебе! Цельную жизнюшку шел! Да ты, тетенька, промерзнешь, небось холстинка твоя не греет телеса твои, тулупчик бы нужон, а может, и шубейка волчья! Давай, тетенька, волка убьем! Я знаю, как зверя рогатиной ко земле прижать, да собака верная нужна, да нож охотничий нужен, ружье бы ищо... то многоценное удовольствие, денег стоит, не у всех оно в городищах да селах имеется. А ну, што, пойдем на волка, нет? Помотала я головой: не пойдем. Мы с тобой, Вакушка, ни на каково волка не пойдем. Веди меня, куда назначено вести; куда, ты сам знаешь.

Оглянулась я вокруг. Белое, Белое Поле.

Ты знаешь дорогу?

Ты знаешь дорогу, так я спросила, спросила не зря, ибо пред нами расстилалось бездорожье, все белизна, белизна без края, огромные снега, в них жизнь не дорога; мальчик искоса поглядел на меня. Ясно, прекрасно глядел он, дышал, чуть приоткрыв рот, изо рта ево валил на морозе пар, и он снова улыбался, и делать мне было нечево, улыбалась и я ему, так менялися мы улыбками, перекрещивались беззвучным смехом, а што ищо оставалося делать? А как же мы пойдем, дороги-то ведь нет? Ангел мой ободряюще, радостно головою мотнул. Да, нет дороги, и не будет ея, не будет никогда! Мы сами ея проложим, не бойся, тетенька, давай, идем, вперед, вперед!

И он храбро ступил на пушистый, алмазно струящийся снег, алмазно, больно, резко блестящий, режущий алмазными ножами солнечный окоем и ночную густую тьму. И, о чюдо, нога ево в маленьком валеночке не провалилася во снег, а пошел он по снегу лехко, невесомо, заскользил поверху белово покрова, будьто по воде Христос ходил во время оно; я боялась, но делать мне было нечево.

И я ступила босою ногою на снег, и нога моя во снег не воткнулась, и так же лехко, волшебно, как в тайнозримом сне, по крупным морозным алмазам, медленно поднимая и ставя на белый снежный плат голые ноги мои, я пошла за мальчиком моим и только об одном молила Господа: оставь мне то явью, не делай то сном. Мальчик шел впереди, держал меня за руку. Я шла за ним, сначала не глядела по сторонам. И ни разу я не оглянулась назад, а потом робко подняла глаза мои и стала озирать окоем, небосклон, белые дали, темно-монашьи пихты и ели; я видела, как на голой, не покры-

той шапкою головенке мальчика вились кудрявые русые власы. Я пригляделась: у Ангела моево сияли две макушки. Великая редкость, Божий знак, знамение счастья. Не простой мальчонка-то; Аввакум, Ангел Господень, зачем он мне дан? Куда мы идем? Нет, не до тово лишь черного леса лежит наша невесомая тропа; лес мы пройдем насквозь, пронизаем ево, живые лучи, и выйдем с изнанки времен. С испода Міра. Я увижу Міръ Иной, тот, што до сей поры я все время зрела лишь внутри себя. Мы выйдем в Иное Время.

Мальчик прочитал мои мысли, поднял ко мне лице, оно сияло ярче солнца, и звонко выкрикнул: да, тетенька, мы идем с тобою во другие времена! в Иное Время придем! но долго надо идти! Готова ли ты к безконечному пути? не устанут ли ножки твои босые перебирать по снегу колючему? я не могу тебе подарить валеночки мои, они тебе будут малы, а мне, знаешь, все валенки велики! Да я терплю; иной раз в них набивается снег, тогда я сажусь рядом с алмазным сугробом и снег вытряхиваю. Тетенька, ты такая хорошая, ты такая добрая, хочешь, молчи, а хочешь, говори, теперь я есть у тебя! Хочешь, я буду твой сынок? Я дрожащими губами вылепила: да ты ведь и есть уже мой сынок, Вакушка, я всю жизнь мечтала о таком сыночке, и штобы он был мой проводник, штобы он вел мя по жизни, довел до смерти, и мы с ним вместе, рука об руку, насквозь бы смертушку прошли. И как же это хорошо, как чюдесно-то, што тебя, мой Вакушка, не убили на войне!

На какой войне, тетенька?

Все на такой! На Зимней! Или на Весенней, на Летней, все равно! Она — идет!

Да ведь идем и мы.

А где мы идем?

А разве ты не догадалась, тетенька, где мы идем? гляди, што у нас под ногами? Белое Поле, ответила я тихо. Нет, это не Белое Поле! посмотри-ка получше, где мы!

Я опустила глаза. Алмазный снег внезапно стал прозрачным, и под прозрачною толщей, как под толщей чистой воды древлево таежново озера, я увидала чюдовищ. Чюдища копошились, плыли, летели, всплывали и ныряли; они рассаживались за огромным столом, где высились горы снеди; они вонзали зубы, клешни и жвала во богатые яства: во хлебы, дичь, говядо, рыбицу, плоды, ягоды, травы, во все живое и мертвое, што возвышалося съедобными дворцами и башнями на широком столе. Пирушка, пирушка чюдовищ под нашими ногами! а вон лютый уродец грызет человека, мучит ево, клыки во плоть вонзая, а вот два великанских насекомых стрекочут острыми крыльями над орущими людьми, отсекая железным пером от живых руки и ноги; а вот казнят детей на глазах у матери; а вот снова льется и льется густым потоком кровь, разливается озером алым; чюдовища вяжут трупы в единый громадный сноп, сгребают граблями в единую огромную копну, людской стог, сметанный из наших мертвых тел.

Я сама, яко мертвая, стояла и глядела вниз. Чюдовища закинули башки, зашевелили усами, заклацали зубами; они увидали за прозрачным стеклом, за поверхностью Иново Міра нас двоих. Нас, вдаль идущих, нас, плывущих над злобой, што никому из живых не оплакать взахлеб. Я спросила мальчика: сие смерть? Да, ответил он. Но мы сей же час провалимся туда! лед треснет под нашими ногами! время расколется надвое, и мы упадем Аду прямо в пасти и лапы! Я не хочу такой страшной смерти! Мой Ангел, спаси меня!

Спаси мя от войны с чюдовищами! Спаси, ежели ты посланник Бога! Ведь Бог есть, и Он превыше ненависти и войны!

Улыбнулся мой мальчик. Да што ты, тетенька, плачешь! я спасу тебя всегда, ты даже и не думай, пожалей лучше их, Адовых жителей, им больно жить на свете, им страшно причинять мучения, но так сработаны они от века диаволом, што суждено им лишь зло творити. А люди так устроены, што не только добывают пищу для себя, но

и становятся пищею для них, неведомых чюдовищ; Ад рядом с нами; все мыслят, што Ад в старинных книжках или далеко в небесах... нет-нет, тетенька, Ад — это мы и есть!

Смотри, сказал мне мальчик мой, не только мы видим их, но и они видят нас! это перевернутый Міръ! они нас увидали! зри!

Я глядела сквозь прозрачный ковровый белый настил. Жители Ада и правда узрели нас; глазенки их загорелись хищными красными огнями. Они стояли в лужах крови, в красных дымящихся потоках; яства на столе тоже дымились, и то была не Святая трапеза людей, а страшный пир адских созданий. Кто их создал, какая Міровая Тьма? Бог, што перевернут, яко песочные часы? То не Христос, то сам Антихрист родил их!

Ангел мой, прошептала я, значит, Антихрист настоящий, значит, он есть! Мальчик ответствовал мне: будет, есть и был всегда. Да ты разве об том не знаешь? вот знай теперь. Мы продолжали идти, чюдища продолжали глядеть на нас; они не переговаривались меж собою кровью глаз и скрежетом зубов; им надобно было, для торжества и насыщенья, лишь единое зло, черный огонь зла.

А может статься, есть в Міре такое зло, што лучче, весомей, ярче и чище добра? может быть, есть целебное зло? может быть, есть такая ненависть, што рождает любовь?

Я сама не знала, мысленно или вслух я вопрошала об том моево мальчика, но он услышал. Да, тетенька, права ты, права. Ежели бы не было зла, мы бы не знали, што такое добро; значит, нужно зло в Міре. Ежели бы не было Ада, а мы все время жили бы в Раю, мы бы никогда не узнали, што такое слезы, слезами не омочили бы наш хлеб, а мы не всегда ево вкушаем в радости. Погляди, как несчастны Адовы жители! погляди, как они насыщаются и не могут насытиться, как грызут они живую плоть, выдыхают тягучие стоны и жадные вопли и не могут своею злобою насладиться! они не знают, бедняги, што такое наслаждение. Они хотели бы счастия, но для них счастье недосягаемо. Весь секрет Ада, ево вечная тайна — все, кто там обитает, все до единово хотят счастья; люди-грешники утратили счастие на земле, а страшные Адовы чудища ево не знали никогда, а только слыхали о нем. И они грызут, рвут, мучат, режут, убивают, пытают лишь для тово, штобы ощутить хотя бы кроху неведомово, великово Божиево счастья. Зато мы с тобой счастливы, тетенька! мы идем по чистому снегу! Ад глубоко под нами, не бойся ево! Я веду тебя из Ада, я веду тебя над Адом! смотри, ты можешь только смотреть, тебя никто не загрызет, не изранит, кровь не выпьет твою! ты как была живая, тетенька, так живою и останешься! Я жизнь твоя, ты понимаешь это, я!

Я крепче сжала руку мальчика. Слезы радости, слезы счастья торопливо, щедро лились по моему горящему на морозе лицу. Старуха я была или юница, жена или девица, я уж не знала. Сынок, сказала я, не отпускай руку, не отпускай руку, не отпускай, не...

...И так мы шли и шли по Белому Полю. А под нами клубился мрачный, красный, страшный Ад, и лилась кровь в Аду, как на земле, и беззвучно кричали мучимые люди, как на земле, и распинали Человека на Лысой горе, как на земле, все было как на земле, и провожали мученики нас, идущих по наледи Міра, глазами, и провожал Ад нас зубами, провожал кострами, петлями, ножами, а мы уходили, и, уходя, мы всех любили. Мы прощались с Адом, мы покидали ево, мы знали: Ад был в конце и пребудет в начале, мы знали: Ад убить не сможем, пусть Ад идет всегда у нас, людей, морозом по коже, в Раю согреемся, мы сами себе шепчем упрямо: в Раю будем счастливы. А где же путь в Рай? кругом? криво? в обход? Нет, прямо, это прямой наш путь, сквозь мучение наша дорога, и ею идем из Ада в Рай, от диавола до самово Бога! Мы уже приближались ко мрачным елям и пихтам, чьи верхушки черными зубьями вонзались в белесое небо, как вдруг мальчик остановился; я перестала ступать ему след в след; он велел мне теперь поглядеть под ноги.

Что видишь ты?

Я посмотрела и увидала сквозь стекло небытия кресты, стрелы, круги, тени: снова иная жизнь расстилалась под нашими ступнями; под моими босыми стопами и под валенками моего мальчика сидели, лежали, ходили, бродили они, запахнувшись в ткани цвета весенней воды; они струились ручьями, они дышали ветрами, молчали, перемещались безмолвно, бесшумно. Я, дрожа, спросила мальчика моево: а это кто? Он прижал палец ко рту. Молчи, сказал он, молчи, ты все сама поймешь, здесь у них нынче своя вечеря.

Я опять, как давеча в Аду, увидала голый стол; на нем никакой еды, никакого хлеба и вина в бутылях; лишь расставлены по ево широкой квадратной льдине пустые жестяные миски и пустые чаши. Ни скамеек, ни стульев, ни табуретов; тени толпились вокруг стола, качалися, яко серые цветы на посмертном ветру, серые розы, серые узкодонные колокольчики, они протягивали призрачные руки к голому столу, брали пустые миски, голодно, тоскливо прижимали к груди; лица теней призакрыты серыми тканями, материя тихо шевелилась на подземном сквозняке. Говорят ли они между собой? — так спросила я мальчика. Нет, они молчат, отвечал мальчик мне. А кто это, скажи мне? Ну догадайся, догадайся сама, улыбался мне мальчик, и тут я поняла: это души.

Они толпились около стола вперемешку, мертвые и живые. Живых невозможно было отличить от мертвых. Тени закидывали головы и сквозь призрачные серые покрывала пытались различить, што там за странные пятна движутся на стеклянном прозрачном потолке. А это были мы, всево лишь мы, люди, и я поняла: они нас увидели, так же как и мы их; я поняла: они посылали нам тоску свою, боль свою, незнание свое; они не ведали, што с ними станет завтра; у них не было ни завтра, ни сегодня, ни вчера. Я тихо спросила мальчика: они вне времени? Да, выдохнул он, души всегда вне времени, это мы пытаемся присвоить время, сделать ево своим, кровным, единоличным, а душа, мертва она или жива, не знает, што такое время, для нея времени нет.

Мы уже подходили к черному лесу, стекло под нашими ногами темнело, темнел алмазный снег, переставал быть прозрачным, и вопросила я мальчика: Ангел мой, а где же Рай? мы с тобой заблудились. Мы никогда не найдем дороги! Он улыбнулся опять, он улыбался всегда. Нет дороги, нет времени, нет пути, есть только мы. Подожди немного, мы отдохнем, мы придем в Рай, вернее, то Рай сам придет к нам, ведь в Міре Божием не суть важно, кто и когда и к кому пришел; мы все варимся в одном котле, варится прошлое, настоящее и будущее, варится варево времени, и помешиваем мы кипяток ледяным Царским половником, и не тает лед, ведь нету льда, нет снегов, Міръ, каковой мы зрим и ощущаем, пребывает во времени, обреченно придуманном нами; однако ежели времени нет, значит, нет и нас. Как, воскликнула я, и меня нынче нет?! меня, босой, в рубище идущей за тобою по снегу! тебя нет и меня нет? А кто же мы такие? мы што, тоже души, как те?! около голой сиротской столешницы с голодными пустыми мисками?!

Нет, тетенька, мы не души. Мы это мы, такие, какие мы есть, только времени за пазухой нет у нас, времени; а у ково время-то есть, у ково, ни у ково ево нет, улыбался мальчик вечно, безконечно, время за пазухой держит только Бог.

(мы другими не станем)

мама битва началась замри тише стреляют и рубятся в крошево мама я кричу а крика не слышу вокруг все вопят истошно мама я не хотела зреть гибель вблизи и вот я ее увидала мама все мыслят что выживут и начнут ненавидеть сначала мама ненависти конца нету краю мама а я на войне влюбилась я от любви умираю не от пули не от огня штыком не проколота в кровь не избита я от любви умираю вечной сияющей неизжитой это смешно от любви умирать когда все палят друг во друга на царскую рать идет полоумная рать и так всю ночь по кругу по кругу и так весь

век льется соль из-под век мама держу на руках двух кошек приблудных вокруг меня кошки бродячие жмутся ко мне они боятся погибнуть в огне им тут слишком огненно бешено людно звери сильней нас чуют тьму крепко зверяток моих обниму я их глажу шепчу сумасшедшие люди окончится эта война я налью вам в миску воды нет вина поднесу красную рыбу на блюде мама кошки так голодны они как мы стонут во сне видят сны я лицом прижимаюсь к ним и так бедно нище шепчу молитву Господи спаси зверей и людей а превыше всего спаси детей ведь идет последняя битва Раскол яко вор прошел вдоль по земле застыл Пасхальный кагор во родном хрустале помянем мертвых помянем мама кошки в ночи так сильно дрожат мама Міръ не вернется назад а мы останемся тут навсегда мы другими не станем

(Царь, один-одинешенек)

Могуч ты, Никон. Могуч. Да только я сильней. Я сильнее всех супротивников, и вот сильнее Аввакума оказался; да, поборол я протопопа, во темницу навечную ево усадил, в ямину земляную; и надо будет, срублю и сожгу, яко дуб во печи: жарче всево дуб горит, теплом всю клеть наливает до краев. Я ево огнем покрещу. А тебя — крещу неволей. Што, несладко в неволе? то-то. Власть возыметь наравне с Царем! то суметь надо содеять. Ну, ты и содеял. Да обманулся в деянии твоем нечестивом.

Честь, честь. Што есть честь, а што безчестие? Меня вот злые языки бесчестным именуют, бессердечным, во жестокости обличают. Думаешь, добрый хозяин чад своих по затылкам гладит, в лоб целует? скотину свою луччею едою кормит? женку свою на руках носит? Вот и ошибся! Добрый хозяин чад своих по лбам ложкою бьет, ежели к миске со щами первыми тянутся, скотине своей башки отсекает, рубит ея и режет на мясо, на сало, на вяленье в зиму долгую: да штобы скотина та острастку имела, слушалася хозяина и у ног ево ложилась смиренно; а женку плетью охаживает да сапогом, сапогом по бокам да по телесам всем дебелым, а штоб она тише воды ниже травы пред мужем ходила, штоб она ему услужала смиренно да шелковою волною, аки плат посадский, пред ним расстилалась. Иначе — гибель хозяину! Восстанут все слуги ево на нево! И со свету сживут!

И я тако же с моим народом. Народ надобно в кулаке держать! Да кулак крепче, крепче сжимать! Больно стискивать! Штобы народ там, в моем кулаке, верещал! Пощады просил! На костер шествовал, на плаху, на висельцу! И самых моих наиближайших друзей, тех, кто родней родных, я на побивание батогами, во мрачное заточение да на смерть отправлял. И думаешь, сердце мое не дрожало? Ищо как дрожало! Тряслося просто! Колыхалось! И, да, Никон, плакало, горючими слезами плакало сердце мое! А не забалуешь у меня! Я сам у себя не забалую. Я — Царь.

Я — Царь!

А может, я раб последний. И это я у тебя должен в ногах валяться и пощады молить, а не ты у меня.

Народ мой я умерщвляю во благо же ему. Во благо, слышишь! Гибнуть должен скот под ножом, под топором хозяина! А не блеяти бунташно!

Ты зерцало мое. Я зерцало твое. Мы оба отражаем друг друга. Худо мне, и задыхаюсь я ночьми. Лекарь мне скорую смерть пророчит. Велю я лекаря тово болтливово страшною казнью казнить. Да не помру я, не помру, нет!.. Цари разве умирают!.. Цари вечно жить остаются. А где Аввакум? А нет ево. А в яме он. А может, уж на костре! В сердцевине огня! Кричит и горит! Горит и кричит! А мне донесли слуги верные: он, из костра невредим исшед, по дороге пошел, пошел, пошел... да так и ушел. Утек! Истаял. И не видали ево. А лишь слыхали о нем; слухом земля полнится; разное баяли. Балакал народ, што из огня ево, егда уж хворост подожгли, девчонка приблудная спасла; она, дескать, крикнула: беру ево в мужья!.. ну, по обычаю, надобно отпустить казнимово.

Отвязали ево, он и пошел, шатаяся, ей навстречь, девчонке той, кто брешет, бабе в соку, кто бубнит, старухе; о Настасье Марковне своей, видать, и не вспомнил. А кто бормотал, што, мол, он пошел-пошел по полям-лугам, по долам-лесам-перелескам, шел да шел, и видали ево везде, где только не видали, и по градам шел, и по весям шел, по стогнам да по крутоярам, по столбовым дорогам да по козьим тропкам, мелькнет да пропадет. Аки птица перелетная. Кто зрел ево во Белом Поле; снега, снега округ могучие, нескончаемые, ноги вязнут, душа морозится насквозь, насмерть. То лед, то огнь, вся такая наша жизнь. Он идет, а навстречь ему девчонка, али баба, али старуха; издали разве разберешь; та аль не та, никто не познал хорошенько. Што глядишь исподлобья? Сам я ничево не знаю. И слухи те тебе поведал из жалости. Штобы ты восчувствовал: нет, не казнил я протопопа, нет, жив он, жив. Он приходит ко мне во снах моих. Является из огня. Обожженный весь, в волдырях, в крови. Глядит на меня и тихо так говорит: ВОССТАЛЪ Я ИЗЪ ГРОБА, ЯКО ЛАЗАРЬ, ПОГЛЯДЕТЬ НА ЦАРЯ МОЕВО. Боже! Господи Сил! Помози мне, грешному! Укрепи мя! Помилуй мя!

Вот над тобою владыкою, Никон, во время юности твоея старец Елеазар возвышался на острове Анзере, во Белом море. Соловецкий монастырь весь на Елеазара глядел, яко на Бога самово. А ты ему воспротивился. Супротивник ты всегда был, Никон! Зачем ты мне стал заместо отца! Зачем ко мне подольстился, подлез хитро, подлец! Пошто нужен я был тебе?! Штобы возле последней, наибольшей власти погреться, равно как у печи изразцовой, да самому ту власть — заиметь?!

Елеазару ты в сердце плюнул. Рассорился с ним. Удрал от нево. А от меня не удерешь. Я везде найду. Ты то знаешь; и потому не рвешь постромки. А нравный ты! Ты в небеса взмоешь, аки голубь — я тебя и в небесах найду. Ангелом не станеши! И не надейся. Но и во Ад не направишь стопы; много чести тебе! Туда только Христос Бог спускался после Распятия Ево.

Свободу любишь?! А вот тебе скит. Волю до дрожи хребта вдыхаеши?! А вот тебе затвор. Монастырь та же темница. Рыбоньку в одиночестве ловил?! Залови попробуй грешные души тюремщиков твоих!

Я моложе тебя, Никон, но я крепко понимаю: храм — не базар. На сто голосов во храме не кричат. И ты, хитрец благочинный, устроял во храмине благость и тишину. Тишину... тишину... За то я тебя и возлюбил, за тишину. А кровь?! А, кровь! Кровушка! Пролил я ея ведрами, реками, кровь людскую! Яко красные слезы, землю она залила! Питалась кровью земля, и это я, я питал ея пищей той! А гуще крови нет причастия! А слаще крови нет насыщенья! Тишина у тебя за спиною, Никон, а напереду — суровость да ненависть! Ненависть — к кому, к чему? А к тем, кто Бога не почитает! Кто Богу готов, как воин римский презренный там, на Голгофе, сунуть пику под ребро!

Я боярыню Феодосью велел казнить, я. Я тебя в заключенье велел упечь, я! Я такой, я сякой! Да я — Царь! А ты кто такой?! Мой народ — весь у меня под пятой! Ты же сам, дурень Никон, так меня учил. Нашептывал мне: держи, держи народ в узде, а я буду овец моих рядом с тобой пасти, и так два владыки пребудем! Я верил тому. Я хотел тово! Видел ясно: нет сильново Царства без жестокости. Без смерти. Хрипят люди на висельцах! Обматывают им каты жалкие шеи вервием и топят во проруби в день зимний, солнцем, яко златым млеком, залитый! Катятся орущие башки под топорами! И льется, льется, льется бесконечная кровь, без конца без краю, без преграды-предела! Кровь! Вот што дороже золота! Дороже жизни! Дороже, ценнее смерти самой!

А Бога — кровь — дороже?!

Да Бог и кровь — это одно!

Бунтует народ, бунтует! Овцы мои вырываются из загона и наобум, навонтараты несутся, сметая в неистовстве все и вся на своем безумном пути! Бунты-то наши упомнишь?! Соляной! Хлебный! Медный! С ума сходил народ. А Стеньку Разина вспо-

мянь-ка! Вот разбойник, всем разбойникам разбойник! Разбойник... там, на Голгофе... ну-кось воспомни те словеса неизбывные: нынче же будеши со Мною в Раю... Господа голос... далекий, дальний... и гаснет... ты не слышишь... и я не слышу...

Как казнил мой народ, так и впредь буду казнить. Ты не Великий Государь Патриарх! Ты просто загордившийся служка, и самовластье твое я пресек. Ты о грецких списках пекся да о поправлениях в Писании Священном, а я — о том, штобы тебя, в случае чево, приструнить, в хомут мой выю твою всунуть. Яко отец ты был мне — яко грядущий предатель стал. А почему, и сам не знаю! Есть мудрость такая: бойся, правитель, самово верново слуги твоево!

Ты лют — и я лют. Ты зол — и я зол. Да я злее, лютей. Ты виноватых иереев сажал на цепь — я виновных сразу на дыбу, на костер, в яму. Смерть и кровь, вот главная народа азбука! Царь со своим народом, запомни, всегда ведет войну. И што, плохо это, скажешь? Обвиняешь меня? Укоряешь меня?! Да я прав, я! Жалость, то для баб слабодушных. Царь — иной породы. Я, и нищим став, пребуду Царем. А ты, ты... глодай в Ферапонтове монастыре рыбью кость, изымая ея дрожащими пальцами из жиденькой ушицы, воспоминай Соловки и преданново тобою, аки Христос Иудою, старца Елеазара, московские гулкие соборы, а может, твои синие, речные да песчаные нижегородские пределы... и молись за меня! Я ведь жизнь оставил тебе!

Жизнь... и кровь твоя течет в тебе...

Ты там вот што... Никон... помолись за меня, отче, прошу тебя... аз есмь Царь недостойный... я жить хочу, и я умираю... души всех убитых вопиют ко мне... вопли всех, кровию истекающих, пронзают мя, аки копьями Христа на Кресте... и помолись за боярыню опальную... год назад, всево лишь год, уморили ея... до чево страшна ея смерть... я бы, слышишь, я бы не хотел помереть в яме... ведь то могила при жизни... сидишь во твоей могиле и поешь псалмы... утешаешь себя... а на земле мы кто такие?.. есть ли смысл во земной жизни, Никон?.. али все прейдет, и мы прейдем, и зачем же мы тут жили-были, во времени?.. зачем текла в нас горячая кровь наша?.. зачем не пролили мы ея в битве, не умастили ею родимую землицу...

(простите)

Я шла и держала за руку мальчика, он вышел из подвала, я его сразу увидела и поняла: надо отсюда уходить, сейчас нас тут накроет, стреляли уже совсем близко, он вышел из темноты на свет, щурился, ему глазам было больно, увидел меня, подбежал ко мне и схватил меня за руку, я крепко сжала его руку, и мы пошли. И тут начался обстрел. Мы сначала легли на землю. Лежали. Снаряды рвались, но нас не задевало, ложились поодаль. Мальчик задрожал и заплакал. Я сказала ему: не плачь, прорвемся! И мы встали и опять пошли, и вроде утихло. Идем и видим: навстречу нам идет старик, на того священника сожженного сильно похожий, но нет, не он, другой. И его за руку девочка ведет, такая маленькая девочка, примерно ровесница моего мальчонки подвального, а может, даже помладше, она идет чуть-чуть впереди старика, он отстает на шаг, идут медленно, и как будто не стреляют сплошь и рядом, как будто они гуляют в парке, ну, дед и внучка, вроде того. И получилось так, мы с мальчишкой идем навстречу им, они идут навстречу нам. Прямо как два самолета в небе, сейчас столкнемся. Старик идет, как незрячий, вроде бы не видит ничего впереди, и девочка его вроде как слепца ведет, осторожно, ну как поводырь. Мы с мальчиком шаг замедлили, к ним подходим, они к нам, и наконец старик нас увидел, вздрогнул, как будто проснулся, потом встал и молчит. И девочка молчит. И мы тоже, мальчик и я, встали и молчим. Так молчим все четверо. И тут вдруг опять стали палить, да так крепко, густо, в воздухе вой и грохот, я кричу: ложись! — а все стоят, не шелохнутся. И у меня такое чувство, что мы уже вроде как не на земле. А где-то в небесах вот так стоим и друг на друга смотрим. Кругом идет война, палят вовсю, а мы стоим и друг на друга глядим, и все, и больше ничего. И молчим,

как немые. Потом девочка улыбнулась, она первая сказала: мы на земле или уже на небе? У старика бороду сильно трепал ветер, он молчал, и я молчала, а мальчик сказал: это уже неважно, где мы, это все равно, я очень устал от войны. И у него грязное лицо было все залито слезами. Девочка выпустила руку старика, подошла к мальчику и вытерла ему слезы подолом юбки. А мы со стариком на них смотрели молча. Все, не могу говорить. Простите.

(Аввакум и я встречаемся в Раю — во Белом Поле)

Белое Поле расстилалось предо мной белым посадским платком. Мальчик держал меня за руку, вел. Я покорно шла за ним, старалась ступать след в след. Чистейшая белизна снегов застилала глаза мне слезами и слепотой. Я видела Белое Поле; оно дышало смертью моей и снова вспыхивало будущей жизнью моей, обещанием Рая. Где же Рай? — тихо спросила я мальчика. Неужели это холодное Белое Поле и есть Рай? Так все просто. Так все тихо. Рай, зимнее наше поле, алмазный снег; Солнце, што виснет над полем белой слепящей ягодой; звезды, они сыплются ночью в лукошко подставленных рук, в живую миску закинутово отчаянново лица. Отчаяние! Как часто приходит в жизни оно к тебе в гости! Ты не ждал, а вот оно, на пороге. Мальчик, ответь, не молчи, это Рай или просто зимнее Белое Поле, што мы вброд должны перейти?

Мальчик не выпускал руку мою. Остановился. Встала и я. Мы стояли посреди Белово Поля, залитово ясным белым молоком Солнца, и мальчик вздохнул. И услышала я ево голос, веселый и тихий: да, да, тетенька, это Рай. Смотри, здесь, в Раю, никогда не заходит Солнце! оно движется кругами по небу, бесконечными, вечными кругами, оно светит вечно, и снега здесь вечны; иной раз прилетают из медвежьих земель метели и воют свою долгую песню. Звучит их хор под звездами, под небесным шатром, под широким черным пологом, што жемчугами расшит. Да, это Рай! Стой посреди Рая, воздух вдыхай, ветер благословляй, видишь, здесь все как на земле! Только снега белый ковер босые ноги не жжет, только здесь из конца в конец прошел твой народ, и ты пошла за ним. Я не мальчонка, я твой народ, я костров твоих сизый дым. Здесь не убивают, не стреляют, здесь только благословляют. Я тихо вздохнула: ежели это Рай, мальчик, где же здесь Бог?.. о, и Он одинок. И Он одинок! Мальчик снова сжал руку мою и пошел вперед, и я послушно шла за ним, ведь он был мой народ, и я была ево народ. Мы оба, вместе, были народ; на замок вечново молчания был замкнут мой прежде вечно поющий рот. Я теперь вечно молчала, я согласна была начать все сначала, я в лицо Рай узнала, я в лицо свое время узнала, узрела чужие дальние времена, сквозь кои не пройду одна, кои преодолею, лишь народом пройду: на огонь, на звезду, и вдруг там, вдали, где Белое Поле кончалось, а может быть, начиналось, я увидала человека

Сначала узрела человека большово, яко высокий мрачный менгир, а рядом с ним человека маленьково; они шли к нам, приближались, я хотела ускорить шаг, но ускорила полет моя душа: она сорвалась с моих плеч, вырвалась из груди моей, оголтело полетела вперед, так в битве скачет конь грудью на врага, а душа летела, голубица, летела моя птица, и очи мои уже рассмотрели, кто приближался к нам.

Человек большой шествовал в рясе до пят, глаза глубоко запали под лоб, ужасом, радостью, верой, болью горят, слезною любовью плывут, лишь любовь одну на земле знают. Большой и маленький человеки подходили все ближе, я разглядела, кто человека большово ведет. Девочка малая. Она осторожно, как слепца, вела за руку человека в черной рясе; ветер рясу развевал, рвал с тела; срывал ледяной ветер с нас все жалкие одежды, обнажая душу. Мы будем дрожать, а дрожь суть чювство. Ты испытуешь многие чювства, живя на земле. Душа все чюет; душа все знает, што было прежде. И што будет потом.

Они все приближались; девочка протаптывала путнику тропинку в снегу.

Подошли ближе, я увидала: они брели не по снегу. Нет! они шли поверх снега, так, как Господь наш невесомо ходил по волнам Геннисаретсково озера. Медленно шли и мы им навстречу. Мальчик щурился на солнце, все сильней сжимал мою руку, до боли. Я хотела вырвать руку и не могла; я согласна была терпеть боль, я согласна была босыми ногами по снегу идти, по всему, сужденному мне на веку. Все ближе и ближе, из-за слез ничево не вижу, я вижу тебя душой, отче мой, и вот мы встретились в Белом Поле, в доме вечного дня, на кромке белово огня, в Раю, што нам сужден на грани белых пелен, на грани иных времен. Я глядела на личико девочки... громадные сливы ея глаз, они меняли цвет... становились то синие, то смоляно-черные, то лиловые, то зеленые. Лазоревые очи, лазоревые, потусторонние, Эдемские, в пол-лица. Очи глядели на меня, в меня, и сквозь меня; по плечам девочки вились, летели по ветру русые волосы, тончайшие, нежные, нити летние, теплая солнечная паутина средь зимы; стояла она предо мною в рубище, босиком, в заштопанном дырявом мешке, жилка синяя билась у нея на виске. Девочка держала за руку протопопа, мальчик держал за руку меня, нас четверых заливало молоко белово дня. Девочка, ты чья? — спросила я тихо. Девочка звонко крикнула мне: я всехная! я для всех! Аввакум судорожно, как после плача, вздохнул. Тихо ответил: больше не спрашивай ея ни о чем, Она Богородица, только ищо дитя, Она сама об этом не знает, а отец и мать Ея, Иоаким и Анна, опрометчиво отпустили Ея гулять по временам, вот добрели мы с Нею до тебя, дочерь моя, здравствуй, сиротское время дочери моей, как жила ты тут, доченька? Как страдала али как радовалася, как праздновала, как слезыньки лила?.. ведь и Ангелы Божии тоже плачут.

Так стояли мы друг пред другом, девочка против мальчика, мальчик против девочки, стояли и молчали. А што же нам было друг другу говорить? все уже было сказано века назад. Зачем мы встретились на земле? Да мало ли людей встречается и расстается! люди встречаются в одном времени, а расстаются в разных временах... мало ли людей друг друга не понимают, шепчу себе, ну, на земле не поняли мы друг друга; так, может, поймем в небесах?

Протопоп ожег меня глазами, я ждала, што он спросит меня.

Я стояла и ждала. И дождалась.

Он задал мне вопрос, один-единственный.

Скажи мне, дочь моя, како без меня на земле ты страдала и како радовалась, ты и тогда уже дочерью ветра над землею летала?!

Будьто ветер вселился в меня. Ветер обезумел. Он хотел столкнуть с ног, сломать меня, протопопа, мальчонку, девочку Богородицу рядом с Аввакумом, взвихрять снега по Белому Полю, ломать землю, разламывать надвое небеса, ломать и крушить времена. Ветер Раскола! Он пытался оттащить нас друг от друга. Кто был тобою безмерно любим, ты никогда не узнаешь! Века назад ты, несмышленка, покинула ево, отца твоево, и ушла за ветром, за радугой!

Я сильно страдала, с голосом не совладала, отчаянно закричала. Я старалась ветер перекричать, Раскол перекричать, чужую волю, што нашу волю гнула, била и ломала. Протопоп, ведай, я так страдала! Люди бичевали мя, шпыняли, прочь швыряли, дразнили, последнее платье сорвали, опять смертно били, мне ребра сломали и пытались из меня сердце вынуть, мое бедное вечное сердце, што во имя Твое, Боже, бьется, што Тебе и огню Твоему принадлежит! Меня обманули, меня прогнали взашей, плюнули мне вослед, крикнули: иди, скитайся по земле, ты нам чужая, ты занимаешь наше место, ты живешь нашею жизнью, а мы в отместку хотим сожрать жизнь твою, да штобы твои косточки у нас на зубах захрустели! а коли хочешь ты жить, беги прочь от нас! Странствуй, броди, одинокая, по великой земле, но не приближайся к нам на пушечный выстрел: мы одни, и ты одна!

Вот так, протопоп отченька, обидели мя и убили мя, я ушла одна, никому не дочь, не сестра, не жена. Ветер дул мне то в грудь, то в спину, и так я шла, и встретился мне мальчик на пути, он сказал: мя звать Аввакум; я поняла: так то ты, ты, отченька, только малютка, а я... я мать тебе, вот и матинькой на земле родимой я стала, благословенье Божие со мной!

Я схватила мальчонку за руку и пошла за ним.

Или то он меня за руку взял?

Как я могла за тобой не пойти? Разломили хлебом-пирогом, разорвали горбушкой ржаново наши бедные времена. Давай съедим их вместе, сядем на алмазном снегу, у меня с собою за пазухой последний хлеб, я телом грею ево, на, старик, возьми душу мою. Отче, ешь!

Я уселась у ног ево во снег, и пушистый снег облаком держал мя на себе, и не проваливалась я в сугроб, и сел мальчик, поводырь мой, рядом со мной, и наблюдал, как я протопопу хлеб на ладони тянула. Наклонился протопоп, осторожно хлеб из руки моей взял, будьто голубя, вот-вот сей час подбросит в небо, в Солнца свет. Хлеб сам был Солнце и испускал белые лучи. И протопопа старый лик сиял. Я села в сугроб. Сел и протопоп во снег, а девочка Богородица не садилась, стояла, весело, ласково глядела на нас. Отломил протопоп от каравая кусок грубыми кривыми, во шрамах, пальцами. Малый кусочек отправил в рот, жевал. Он ел, а глаза ево мне улыбались. Они уже не прожигали мя вселенским огнем, они смеялись навстречу мне, смеялись от радости и любви. Улыбнулась и я, засмеялась и я, улыбнулся мой мальчик маленький, Вакушка, улыбнулось нам небо, смеялось и катилось по небу белое Солнце, смеялось Белое Райское Поле, где же Райский Сад, молча спросила я батюшку Аввакума, где же деревья Эдемские с золотыми и алыми, сладкими плодами на их ветвях, с мандаринами и яблоками, персиками и сливами, вишнями и крупной лесною ягодой иргою? где все это, счастливое, мгновенное?.. лишь белизна, лишь чистота, больше ничево. Неужели в Раю больше ничево нету? Ужели в Міре, кроме Рая, ничево боле не осталось?

И ответил мне Аввакум: да, боле ничево, окромя Рая, нету на земле. Нету, да, нет больше людских войн, и никто боле не засыпает вечным сном; ни над кем больше поминальные слезы не льют, а есть только Белое Поле, алмазный снег, яркое солнце, синее небо, крепкий мороз, черствый хлеб, твоя улыбка, моя любовь, твоя душа, мое сердце, мое слово, твое молчание. В том жизнь моя, весь Рай; так цветет, растет Райский Сад, так достигаем ево, добредаем до нево, без сил падаем у древняных и многоцветных, мандаринных-смоковных, душистых-ароматных ног ево, немые от немыслимово изнуренья. Не нужны нам ево алмазы и самоцветы! наземь упадем, вверх, в небеса, глядим, разбросаем руки на снегу, а там, наверху, белое Солнце, слепит оно не наши зеницы, а наши сердца. Зачем плакать? Улыбайся! Зачем страдать? Радуйся! Радуйся, дитя мое! Радуйся, девонька моя! Радуйся, Богородица моя! Радуйся, скиталица моя вечная, безконечная! Думаешь, смерти нет? Она есть, но ведь и мы есть тоже!

Он держал на суровой корявой ладони кроху скитальново ржаново хлеба, улыбаясь, нежно и слезно глядел на меня. Богородица обжигала широко распахнутыми небесными, прозрачными очами белую ойкумену нашево Рая. Гулял, пел ветер. Я вздохнула, хотела вымолвить слово, да молча вылетело оно, вдохом и выдохом, из бедной моея груди, и нежным шепотом, сама не услышала ево, воссияв во облацех, пропела синяя птица широково неба, раскинув над нами широкие лехкие крылья: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

(теплый хлеб)

Мы втроем шли по дороге, снег едва сошел, трое нас: монашка из ближнего монастыря, баба, многодетная мать, двух малышей на руках держала, а шестеро, или

пятеро, не помню, нет, вроде шестеро за ней бежали, ну, и я. Монашка говорит: батюшку нашего, из храма Симеона Столпника, вчера казнили. Я спрашиваю: как, кто? Она сказала, что распяли и сожгли. Я говорю: так я того батюшку знаю, я видела, как его казнили. Монашка мотает головой: как это ты видела, все ты врешь, как могла ты видеть, а я ей: вот так и видела, я там была, и меня самое там чуть не убили. Тут баба оборачивается ко мне, у нее лицо белое, как простыня, и говорит страшным голосом: так это же, девочки, муж мой, я же попадья, мужа моего вчера сожгли, и говорит, где, там-то и там-то, и на детей показывает, так это вот наши дети. Я так и ахнула. А монашка так же шла вперед, только лицо у нее стало такое застылое, как изо льда. Потом она губы разлепила и говорит: батюшка за веру пострадал, он теперь святой. Мать многодетная, ну, попадья, идет, ревет, лицо ладонями утирает. Детки за подол ее хватаются: мамка, мамка, не реви, ну что ты! Мы же все у тебя живые! А одна девочка идет и плачет, как мать, так горько, слезы все текут и текут, носом шмыгает, потом говорит: мамка, а батя теперь на небесах, да? Да, Грунюшка, да, рыдает мать, а монашка лезет в заплечный холщовый мешок, достает оттуда круг ситного, шепчет: еще теплый, ломай и ешь, не стесняйся. Ешьте все! И мы остановились все и ломали тот хлеб, и правда, он был теплый, будто только из пекарни. Я сказала: давайте знакомиться, бабы, что ли. Мать сказала: я Настя. Монашка сказала: я мать Феодора. А я стою, молчу, жую хлеб. Настя спрашивает: а ты что молчишь? У тебя что, имени нет? Я сказала, как меня зовут, и тут начали стрелять, и мы побежали, а дети заорали громко, бегут и орут. Никому не хочется умирать, вот никому. И никогда.

(мною спасенный)

Все случилось. Все взаправду случилось. Я перед плахою огненною. Костер горит. Отченька там, в костре. Он молчит. Не кричит. Во срубе крыши нет, только стены. Я рвусь туда, во сруб, в огонь. Пытаюсь выломать дверь. Открываю. Огонь летит вон из двери. Опаляет мне лицо и власы. Он молчит, а кричу я. Меня оттаскивают прочь, я вырываюсь и опять бросаюсь ко срубу. Я все равно развяжу ево цепи. Вытащу ево из огня. Грязная, в ожогах, перед разверстой дверью во сруб, в геенну огненную, во огнище святое, казнящее, я кричу надсадно и хрипло и сама себя не слышу:

— Я беру этово человека в мужья!

Не слышу лес криков, он поднимается округ меня.

Меня больше нет; я вся перелилась в последний крик.

Они согласны?! Не согласны?! Обычай такой! Древлий! Обычаи надо соблюдать!

Кто входит, втекает во сруб, в бешенство пламени? Я или кто другой? Я обратилась во всех и в каждово. Моими ли, чужими руками цепи разомкнуты, прочь отброшены? Тяжелы. Чугунны. Я бы такие не подняла тонкими слабыми ручонками. Нет! Не верьте! У меня руки сильные. Тяжелей земли. У меня руки Матери Земли.

Матери Смерти. Матери Жизни.

Я оставляю ево жить. Яко Апостола Иоанна оставил жить Исус, возгласив во всеуслышание пред всеми Апостолами: хочу, штобы он пребыл, доколе Я не прииду.

Я вынула тебя из огня. Из сердцевины горящих Міровъ. Из перекрестья, безумья лучей, казней, воцарений, костров. Ты болен? Здоров? Читаю твои ожоги на теле твоем. Не надо слов. Есть только знаки. Знаки — это боль. Кровь: знак пребыть самим собой. Я, видишь, отче, пребыла самою собой. Твоею листвою, корнями и корой. Твое Евангелие, отченька, напиши. Скрежетом зубовным. Кровью души.

Ты вынут из сруба. Выпростан из огня. Ты стоишь предо мной и глядишь на меня. В саже, ожогах, крови, смоле — ищо хоть немного поживи на земле.

— Я говорю, доченька, а ты помни, помни и пиши, пиши кровью, улыбкой, на помин души, воздыханьем любовным, погребальною литией, осмогласием кровным,

ключевою водой, грохотом ледохода, обвалом войны, кричи голосом народа, зри ево горячие сны, зри ево широкие парчовые луговины, выходи на бой со врагом в ево полку, молись вместе с ним Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, сужденному нам всем на веку! Я — народ, ты — народ, дочка! За землю нашу! Ея защитим! Не поставишь в кровавом Писании точку! Зри, голубь летит, и Солнце над ним! То Дух Святый! Враг ево не сжигает! Вражина ево, помни, никогда не сожжет! И под ними небом одна молитва нагая пущай обожжет тебе сердце и рот! Ты есть весь твой род, вся родова святая. Ты вынула, вытащила мя из огня — родила, яко младенца... а жизнь все одно истает, не наживусь на свете, мало, мало времени для меня! Но вот тебе руки мои! Вот я, дважды рожденный! Вышел, перекрестяся, войны изнутри! Я тобою меченый, дитя! Тобою спасенный! Ты теперь мя во всю жизнь твою — во небесном чертоге — зри! Я Солнце твое, Луна! Полночная вьюга шальная! Мною единым сочти все твои ночи и дни! А ты у меня одна, а како тя звати, не знаю... ты хоть на ушко мне, тихонько... шепни...

Огонь выл-завывал, не хотел утихать во срубе. Батюшка стоял на снегу. Я на снегу стояла. Молчал апрель. Солью горели мои обожженные губы. Далеко, на краю света, нежно пел свиристель. И пред нашими широко раскрытыми слепыми очами проплывали картины Иной Жизни, Бытия Иново. Дни сменялись огненными ночами. Богомаз малевал морозные фрески светло и сурово. Старость и Смерть были равны Детству. Кровь, текущая вольно, была равна Богу. Прошлое, Настоящее и Грядущее варились в едином котле, по соседству, в одном котелке рыбацком: стерлядь, белужина и сорога. Аввакум, а может, ты пророк, ты и есть Нострадамий! Пошто с маслом розы не ходишь средь чумных, бесноватых! Пошто ты снежною тенью мечешься, дымом летишь меж нами... над нами... Преодолей страданье веков, годов, дней проклятых! Зри, война опять, война навалилась! Шкурой волчьею обхватила... не сбросишь... не вспорешь... Помолися за нас всех, отченька, сделай милость! За народ твой, восставший на зло, гудящий лютым огнем на великом просторе!

А может, отче, Время-то само есть пророк?! оно одушевлено, оно заливается Божией птицей в ветвях! Парит в облаках! Да, отче, воистину так! Время — Пророк, Кровь и Бог, и мы вытираем Время-слезы с лица, отрясаем с ног Время-прах! Оно меняется, исчезает оно на ходу, внезапно является, рождается из пустоты... оно бормочет в чужом сне, мерзнет родными ладонями на холоду, оно стреляет в чюдовищ, идет босиком по снегу от версты до версты! Оно многолико, многослойно, многочюдно... многокровно, многострадально, многогласо, оно Осмоглас... оно плачет в яме казнимой болярыней, умирать так трудно, умирать так земно, то соленое, темное действо не для небесных нас!

Задери башку! Застывают во облацех, на громадной фреске в огне, облитой суриком-кровью, Богородица-Матушка в синем небесном хитоне и батюшка Аввакум, мученик, со звездою Чагирь во изголовье, а красный конь пасется у ног ево, и там, вдали, идут ищо кони, кони... И слышно конское ржанье! А за конями идут люди, люди... Идет великий Крестный Ход, движется воинство силы, идет на войну со Злом великий родной народ, и, руки раскинув, летит над людьми в зените Господь Бог, от рождения до могилы! Летит наш Господь, наш душистый ржаной ломоть, наш сладчайший кагор, от Рожества до Пасхи, и молится весь народ: напоследок дай Тебе помолиться хоть, вкусить Твоей, Господи, пожизненной и посмертной ласки! Народ, век и год, глаголет пророчий рот, идет, возвращается, неистовыми, вихрясь, утекает кругами, идет по весенней Реке Міровъ расколотый человечий лед, последний наш царский народ, безумен, счастлив и строг, единым ликом своим яко Бог, расколот на Тьму и на Свет над нами.

(Последний Раскол)

Сотворил Господь небо и землю. Ненависть не приемлю. На небе возвышается престол Божий, а Царев престол — во грязи, во бездорожьи, во вьюжном острожьи. Под небом Ангелы тихо стоят, Серафимы на страже молчат, Херувимы нежную, сладкую песнь припевают: ты, мол, живой, человече, и ты, баба, живая. Богу ликуя, Ему лишь служи, а все одно взденут тя на ножи. Юзы — навеки твой приговор; железы гремящи, сребряный хор. Родил тя Господь из небытия в бытие, нацепил на тя снеговое белье, дал вкусити мудрости, а затем погрузил в льдяное море забытья. И стоит близ тебя Богородица, и беззвучно поешь ты устами дрожащими псалом во имя Ея.

Рек Бог: буди небо, и явилось небо. Рек: да восстань земля, и стала земля. Рек: плыви, текучая вода, исчезай без следа, такоже и жизнь человечья течет, в рыданьи кривится рот, в тихой молитве поминаю род. Тяжел Времени ход. Да хочу не отстать. А то желаю вперед забежать! Время, не смейся. Тебе исполать.

А мне все равно, земелька-земля, по воде ты плывешь али стоишь на живущих китах; сгоришь ли до пепла, уйдешь ли во прах; испытаю ль ищо раз смертный страх али встану в небесах у Бога Господа на часах, — все одно, согласен сплошь со всем, ибо, Господи, ничево о смерти не вем.

Тяжка вода, да ведь тяжела и земля. Легок воздух, и легок огонь. Он летит быстрей всех погонь. Воздымается, красный лес, выше башен всех, всех небес. Огнь жив и на небеси: да пощады у нево не проси. Огнь землю поедом ест, людей с ног сбивает окрест, обнимает орущих женихов и невест, — огнь лишь единый наш Небесный Крест!

Это огнь землю надвое расколол. Надвое разрубил людей. Ево — Раскол. Лишь огнищем единым — владей!

А вы-то мыслили: огонь — колыбель, огонь — родильная постеля, огонь — ложе любви?!

А ты не рядом с ним — в нем поживи!

Што?! Не хочешь?! Не смогаешь?! Огнь из груди голою дланью вынимаешь... огнем целуешь... огнем благословляешь... што станет на земле после Раскола, не знаешь...

Расколется наново земля. Расколется надвое синь-океан. Разыдутся горы и долы. Всяк предстанет пред Богом голым, от голода черен, от стыда пьян. Грешники, кромешники!.. Адовы приспешники... Да, вдумайтеся, Міръ-то расколот на Рай и Ад! И нету пути-дороги назад!

По правую руку — трава густая. По левую — земля выжженная, пустая. В водах соленых земля тонет, прянет на дно, к судьбине своея пригвожденна, яко камень тяжкий. Одета земля, яко младенец новорожденный, во снегов злую рубашку. А время приспеет — ни рек, ни морей, ни травы, ни цветов, ни в печи березовых дров; и надвое раскололась любовь, раскололась моя любовь!

Не пяль, баба, пред зерцалом-стекляшкой чюдных украшений. Не делай движений. Не прибрасывай к бренным телесам блажные наряды. Зри, Ад-то, он рядом. Далеко в небесах Златово Рая корона. Ледяные дожди льют с небосклона. Густые снега твою жизнь засыпают. И душа твоя... сонная... пред казнью... во застеночке... робеночком... спит... засыпает...

Раскол Новый грядет! Последний! На землю и воду! На звезду и кромешную тьму! На Потоп и Спасенье! Людие, неохота ведь вам всем разом тонуть, вам охота сладостей и веселья, вам охота в чистое небо глядеть, песни петь заревые, а не забиться в железную клеть, не гнуть пред новым чюдовищем свои жалкие выи! Разверзнутся хляби небесные, и хлынет забвенная, белопенная вода на грады и веси, на леса и долины... Раскол, он опять нас обнимет! Воплем неистовым! Стоном долгим, длинным! Все помрет в земляном Разломе, в Потопа бушующих водах: и не будешь бормотать ничево, кроме... последней, хриплой молитвы поверх общево плача народа...

Сколь времен Последний Раскол на земле будет длиться? Сколь царствовать будет? Слезы склеивают мне веки. Залепляют ресницы. Дрожу, яко в погребице, в могильной остуде. Над жизнью трясуся: ах, люди мои, скоты, гады подземные, блохистрекозы, и звери, и птицы! То мне ваша общая жизнь снится?.. или вам — моя — мнится-блазнится?..

Да!.. видите вы меня. И надвое расколюсь я под мечом пламенным Ангела Рая! Изгоняют прочь мя, я всево лишь человек, от созерцанья Бога моево умираю! Я умираю, из Рая на брюхе ползя, на Рая пороге... ты, слышишь, даже ежели нельзя, ну помоги хоть немного...

Я не праведник! Не Ной я брадатый! Вовек не спасуся! Я лишь во смерть иду, как во солдаты, бормоча торопливо: Господи Исусе... День — на пиршество да на работу каторжну, нощь — на покой... а после опять бысть ясное утро, и снег на солнце заиграет, зажжется яхонтом и перламутром, и лица людей румяные по вьялице-льду красными яблоками раскатятся, да, навеки... на горе и счастье снова расколемся мы, человеки!

Вечерня, полунощница, заутреня, часы, литургия... Раскололась Церковь. Значит, и мы другие. О, нет! Нет! Нет! Мы-то, людие, все те же — лисы, волки, зайцы, медведи, невежи! Жестоко, хищно на загривке, на глотке у ближнего клыки сжимаем! Все идем-бредем, да никак не дойдем до Рая, а уж так взыскуем тово желаннаго Рая, што тоске нашей по нем нету ни конца, ни краю...

Яко ставец древняный, миску-жизнь в застолии расколи! А она вдругорядь со стола в люди покатится — со вершины горы, на краю земли!

Мы все такие ж: гнутые-битые, поутру неумытые, с молитвою слиты, проклятьями перевиты! Мы себя хвалим-хвалим, да и обожжемси об похвальбу... мы себя любим-любим, да и напоремся в темноте на судьбу! На ея вострый нож-тесак... на ея мощный клык... ах я старик дурак, я-то ко моей старости не привык! Не пообвык ищо я жизнь мою на младость и дряхлость молотом расколоть — а глянь, уж за плечом стоит моим молчаливый Господь! За другим плечом — Архангел свет-Михаил: што, бает, Аввакуме, шастаешь повдоль древлих могил?! Не хочешь ли пополнить сонмище безвестных мертвецов? Давным-давно на забытом кладбище твоя забитая батогами, забытая, ветхая деньми любовь!

В полунощи восстах исповедатися на судьбы правды моея... Опять не сплю, опять на часах. При мерном, железном ходе бытия.

И раскололся надвое мой сияющий временной круг, и осыпалась иглами осенней лиственницы моя цифирь, ожерелья узорных дыр — удержать тя, Время мое, не хватит рук, а Раскол и есть мой, людие, сужденный Міръ...

Надо нам восплакать о наших грехах! Надо побороть Времени страх! Тот счастлив, кто, Времени не убоясь, упал ликом в придорожную волглую грязь! Солнце в сердце дня! Луна на груди ночи моей! Раскололось Время на время людей — и время без людей; раскололось, разбилось на вневременье и времен Ход Страстной — душа, ты хоть одна там, в вечной ночи, не забудь, што тут стряслося со мной!

Прорастают травы, зело красивы, цветиками цветут; червонны, лазоревы, снежно-белые, небесные, всякому по нраву, под ноги любовно ложатся там и тут; а мы-то, злыдни люди, их косим, косим... косу остро наточим, на солнце блистает, по травам ходит, звенит... Міръ вечно погибаем, непрощаем, невозвращаем, не подымется боле в зенит... Древеса сладчайшие! што тебе чащи Райскаго Сада! яблони, плоды в соку, малина, спелая услада, черника у светлово луга на боку... Не может, людие, быть таково, штобы весь возлюбленный мой окоем взял да погиб, истек кровию снова... тогда дай, Боже, с ним вместе помереть, вдвоем!

Раскол! Ни благоуханья. Ни цвета. Ни кедра. Ни березы в молчаливом лесу. Раскол! Разымутся недра. Землю держит Господь на весу. На руках... реки с гор срываются во-

допадами... птица Сирин и птица Рух воспарят в синеву... не надо громко плакать, рыдати за двух...

Раскололась жизнь на Женщину и Мужчину. Раскололась на пищу и глад. Нет теперь у людей притину. Лишь глаза обреченно горят. Всякой твари невнятно Слово. Всякой птиченьке. Всякой змее. Умереть никогда не готовы. Ни на небе. Ни на земле.

Может, людие, я Адам?.. никово из вас не обижу, не предам. Никого за грязную монету не продам. Мне отмщение, и аз воздам. Только не идите кланяться мне в пояс и земно; не пластайтеся предо мною никто! Я лишь ваше разбитое зеркало. Не преподобный я, не святой. О, не святой я! Вы слышите! Слышите! Пусть во срубе приговорен стою, в безкрылой избе... Што корябаете там гусиным перышком... што тамо пишете... сказку новую, о новой голи-сарыни-голытьбе... Я Адам, пущай, а и где же Евва моя? Верная моя женка?.. а, вот ты, Настасья... раскололи и нас с тобой, раскололи... Слышу издаля, ты плачешь, инда робенок, мышино, тонко, ни памяти, ни вьюги, ни песни, ни боли... Ни твоей колыбельной у новой младенческой зыбки... ни твоих рукног горячих, во постеле, под холщовою рубахой... я изранен весь, избит, а кровь засыхает липко, запекается, яко в ночи, в печи, твой пирог, похожий на плаху...

Тесто... тесто... хлеб... мы, всяк, тоже тесто... грубо нас валяют и месят... в печь швыряют... на жадном, диком огне выпекают... так, Жених я святой тебе... а ты мне святая Невеста... ты ждала мя месяцами, годами, веками... Ты ждала мя закатными лучами, заливными лугами, ты вязала имя мое рыбакам таинственным бреднем... ты бежала ко мне, спотыкаясь, неслушными босыми ногами, за верстою версту, за обедней обедню...

Душа моя — лесной студенец... бьется-вьется ключ... видать начало, а где же конец...

Настасья ли?.. эй, как зовут тя, девица?.. Лице твое не знаю... неведома мне, незнакома... Болярыню — знаю... сестрицу ея, Авдотью Урусову, знаю... а ты кто, шальная... немая, босая... внезапней града и грома... пьяней голубиной сизой браги... крепче ягодной ярко-алой настойки... исполнена дикой зверьей отваги... стремленья безумней во вьюге скаканья праздничной тройки... куда ты, куда ты, от мя куда ты... Раскол, ты же видишь!.. земля плывет под ногами... Раскол, то рушатся твердокаменные палаты, сосновые избы, еловые шалаши... и рыбье Время идет по воде кругами...

Круги по воде... круги по воде!.. Круги, девчонка, по звездному небу... Гляди, мы с тобой на кромке огня... без огня не прожить и дня... подпалит, и не охнем, примем судьбину... Никогда не хотел я быть, яко Бог, да и ты глядишь таково ясно, нежно, што зрю — нету страха в тебе, а есть лишь молитва Отцу и Сыну... И Духу Святому; держи Ево Слово во рту, выдыхай в мя последнею лаской — последний мой Ангел, бабью, девью твою красоту расскажи мне тишайшей последнею сказкой...

Я не лев, не змий, не бык!.. к тебе, яко к живой водице, приник... очами пью тя, душой испиваю... стоим на кромке огня, Раскол на излете дня, сейчас и помрем, а вот душа, душа-то живая...

Стоим на краю Огня! Боле не живи без меня! Не живи без мя, девчонка, старуха, юница! Лишь любви для живем! дышим ея огнем! лишь любовью движима во мраке земля, расколи, а все такая ж она сохранится... Все такая ж приснится!.. летят лица, лица... я твое-то забыл, девчонка, лисенка... птица вещая ты моя... на краю бытия спой мне, птиченька, весело, звонко! Спой... да што хочешь спой!.. Сердце мне открой. Отвори душу. Распахни голые руки. Стой на ветру так — Христовым Крестом! Все сей час! Все потом! Всю великую смертную муку!

Вот зри, свещи уж несут! Пламя дымное! Это наш с тобой, девка, Страшный суд! Эх, и возгоримся же! Эх, и полетим по ветру огненными языками! Да, огненный мы, святой Народ! И ведай, никто никогда не умрет, ни до нас, ни после нас, ни меж нами!

Ты робенком знала мя. Ты мой снег и моя земля. Ты мелькала мимо глазенок моих, у мя под ногами, когда я бежал... когда тяжко, во хвори-жару, трудно дышал... когда Раскол предо мной расходился кровавыми, чужими кругами... Ты мой круг! Не разомкну крепких рук! Да не руками тя обымаю, слышишь ты, не руками! Но едино — душой! Задыхаюсь... постой... вот огонь, и рвется-ползет, и блажит между нами! Это он нас объял! А мы крепче скал! А мы-то стоим, а он гудит, гудит красным кровавым гулом! Это, милая, так наша кровь гудит стократ. Это звенит наш набат! Штобы душа наша, ленивица, сонливица, ни на миг не уснула!

Како Христос Бог сказал: молитесь и бдите! Да вяжутся пламени нити! Да свяжут нас, юница моя, дитенок мой малый, детонька, Ангельчик милый, крепко-накрепко... а где и где ж мальчонка-то твой?.. Што шепчешь?.. уж звездою над головой?.. уже в небесех?.. уж там, в горнем сиянии, за могилой...

Нет могилы и нет! Есть только вольный, непомерный Свет! Ево побороть хотят, расколоть — а Он все сияет, нетленный! Этот Свет, девчонка, он везде, он здесь! Может, то ты и есть! Ты — над бездною, над расколотой во брызги Вселенной!

Ну, а я-то с тобой! Царь Космос я с бородой! Аввакум я, протопоп аз есмь грешный, изможденный! Не отринь же мя! Не сведи с ума! Мы-то в пламени вечном, рабочем, поденном!

Ты работай, огнь чермной, жги-трудись! Вся такая наша жизнь! Только пламя! Только огнище! Для владыки Царя! для смерда! для бунтаря! для последней — на торжище — нищей!

Я уж боле не ясырь. Я ныне сам себе богатырь!

Челобитные кровию поздно писать. Господь, Тебе исполать! Ты наш огненный Царь! Ты наше пламя! Обними крепче, дочка, отца своево! Это наше навек торжество! Это мы в народе воссияем кострами!

И пройдут века... и Сирин-птица в небеси воспоет... и народится на свет Божий новый народ... и рассеется по расколотой земле, по осколкам ея, по кускам дымным, кровавым... и сберет пепел наш в кисет, и мощам нашим даст обет, и споет нам «Иже херувимы» и «Вечную славу»... Да, не «Вечную память», а «Вечную Славу»; во Славе — наш кровоток; Слава живая, ей больно; Слава — основа и уток; ты прижмись, не вопи, больно будет недолго... мы люди... станем Ангелы... вознесемся... не загрызут нас желтоглазые волки... боль перевяжут нам Адом и Раем... власы вьются костром... вспомяните нас, людие, молитвой-добром... мы горим!.. мы горим... горим!.. и сгораем...

* * *

Тебе сказать, как народ наш обнимается со смертию? Не знаешь. Забыл уже. А я помню! Санки, салазки за бечевку бери! Тащи! Зимний день перламутровый изнутри. Во печи, в чугуне, мамкины кислые щи. Айда с горы кататься! Внизу река ледяная. Мы ищо дети. Мы не жили на свете. Вот сейчас, тут живем. Холодно! Голодно! Весело! Стоим на ветру, на юру. Снега белый огонь. Гора над рекой крутая. Ты не святой. Я не святая! Я просто девчонка! Ты просто малец. Далеко во сугробе крест-голубец. Войне, ведьме, конец! Солнце злато льет! Белая круча. В небесах туча. Нежный снег. Синий лед. На салазки — верхом! Ты мальчишка? Старик? Тебя вниз столкну! Катись! Катишься?! Мимо мелькает жизнь. Быстро! Ищо быстрее! Ищо! Сердцу горячо. Девчонка! Смелей! Снегирь на ветке поет, дуралей. Несемся! Бешено! Вперед! Нельзя назад! Лишь вперед! Только вперед! Разбиться не хочу! Боль под пятой! Санки! Розвальни! Стой! Нет! Нет!..

...Никто. Никогда. Не умрет.